АВИНЬОНСКИЙ КВИНТЕТ

ЛОРЕНС ДАРРЕЛ

СЕБАСТЬЯН, ИЛИ НЕОДОЛИМЫЕ СТРАСТИ



СЕБАСТЬЯН, или Неодолимые страсти

Лоренс Даррел

Аннотация
Лоренс Даррел. СЕБАСТЬЯН, или Неодолимые страсти
Глава первая. Воспоминания
Глава вторая. Расследование
Глава третья. Внутренние миры
Глава четвертая. Условия освобождения
Глава пятая. Возвращение
Глава шестая. Последний путь
Глава седьмая. Сюрпризы других измерений
Глава восьмая. После фейерверка
Глава девятая. Конец пути
Глава десятая. Конец эпохи

Аннотация

«Себастьян, или Неодолимые страсти» (1983) — четвертая книга цикла «Авиньонский квинтет» классика английской литературы Лоренса Даррела (1912–1990). Констанс старается забыть своего египетского возлюбленного. Сам Себастьян тоже в отчаянии. Любовь к Констанс заставила его пересмотреть все жизненные ценности. Чтобы сохранить верность братству гностиков, он уезжает в Александрию…

Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».

Путешествуя со своими героями в пространстве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.

Сложные, переплетающиеся сюжеты завораживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.

Лоренс Даррел

СЕБАСТЬЯН, или Неодолимые страсти

Глава первая
Воспоминания

Принц был раздосадован. И решил немедленно вернуться в Египет вместе с Аффадом, которому весьма сурово выговорил за то, что он уступил, по его словам, «капризу» и позволил себе влюбиться в Констанс. Он говорил и говорил об этом, пока посольский лимузин вез их в женевский аэропорт. «Это совершенно *неприемлемо,* — произносил принц, — из-за вашего высшего предназначения и *договора,* который вы заключили с искателями». Имелось в виду немногочисленное братство гностиков в Александрии, к которому они оба принадлежали, глубоко веря в его принципы. Да, из-за этого Аффад действительно чувствовал себя виноватым, так как пошел на поводу у своей страсти. Перед его мысленным взором вставало лицо Констанс, словно укорявшей его за то, над чем он был не властен. «Вы не имели *права* влюбляться, — брюзгливо продолжал принц. — Я *не позволю* ее обижать». У Аффада вырвался нетерпеливый возглас. «Ничего такого, о чем вы говорите. Это называется совсем иначе. У меня

не *engouement*.[1] Совсем другое. И не страсть». (Они говорили по-французски и на повышенных тонах.) После долгого молчания Аффад произнес: «Ничего подобного я не испытывал в прошлом. Как будто напоролся на мель — *j'ai calé*.[2] Принц, я забыл обо всем на свете. Но вы говорите так, будто сами влюблены в нее». После этих слов Аффада принц впал в ужасную ярость, так как понимал, что тот прав. Произведя носом странный громкий шум, словно обиженный индюк, он достал батистовый платок и высморкался.

Ничего не поделаешь. Коварным гоблинам любви вряд ли по вкусу питаться скудной нравственной пищей, предлагаемой современным миром. Аффад с отчаянной страстью и раскаянием размышлял о тайном пространстве, или ареале, составляющем нравственную географию мистицизма. Однажды его друг Бальтазар сказал с сожалением: «Я думал, что сам строю свою жизнь, а на самом деле оказалось, что она шла сама по себе, не спрашиваясь у меня. Мне потребовалось полвека, чтобы это понять! Вот уж удар по моему самомнению!»

---

[1] Примечания: 1
Увлечение *(фр.)*.

[2] Примечания: 2
У меня есть опыт, я сведущ *(фр.)*.

— Ваше поведение старомодно, — вновь заговорил принц. — Теперь совсем другие противозачаточные средства. Когда-то женщина появлялась в жизни мужчины как нечто неповторимое, а теперь она — товар, вроде *сена.* Доступность же породила презрение.

— Но только не к Констанс! — возразил Аффад.

— И к Констанс тоже! — воскликнул старик.

Аффад задумался. Когда он в первый раз увидел ее, то не мог поверить собственным глазам, до того его потрясла ее уникальная красота.

— Ненавижу людей, которые ведут себя так, словно живут не в своем времени, — воинственно произнес принц, намеренно причиняя боль собеседнику.

— В общем-то, я тоже. Но в отдельно взятое мгновение какая-то часть нас живет не в нашем времени, хронологически она в предыстории, и ничего с этим не поделаешь. Поцелуи предков определенно влияют на наши чувства, поэтому мы всего лишь распространители любви, а не изобретатели. Еще меньше — вкладчики.

— Чушь! — сказал принц.

— Мне стало страшно, когда я понял, что это демоническое чувство еще не отжило свой век. Напрасно я старался не поддаться ему, еще как

старался.

— Чушь! — вскричал принц и притопнул, сидя в лимузине. Он был вне себя от… не только от душевной муки, но и от ревности.

— У вас такой вид, — сказал Аффад, — будто я — священник, нарушивший обет целомудрия. Но ведь я не давал такого обета.

Однако это была неправда, и дела обстояли намного серьезней, чем Аффаду хотелось бы. Речь в самом буквальном смысле шла о жизни, смерти и жертвоприношении. Он не оправдал собственных надежд. В древние времена человеческими жертвоприношениями умиротворяли именно этого демона. Сотни невинных юношей и девушек отдавали критскому Минотавру, чтобы его умиротворить.

— В мой последний день рождения тетушка Фатима прислала телеграмму: «Смерть не имеет значения для Него, и тебе не стоит ее бояться». Разве она не права?

— Да, не права, — заявил Аффад, понимая, что им движет чувство противоречия и нет смысла продолжать дискуссию. Перед ним стояла другая, теологическая, проблема, ведь ему предстояло отчитаться в своей преданности перед, назовем

ее, Звездной палатой,[3] перед так называемым тайным комитетом, имевшим полное право испытать его честность. В отличие от принца, комитет не знал о Констанс.

— На самом деле, у Констанс, как у медика, здравое отношение к любви, и это вызывает у вас недовольство, — проговорил он, ощущая, как мысли принца концентрируются вокруг его чувства к Констанс.

Однажды она пренебрежительно отозвалась о *angoisse vésperale*[4] любви, о вечернем беспокойстве, а потом вдруг обмякла, у нее выступили слезы, и она прижала ладонь ко рту, чтобы не закричать. Едва слышно она произнесла: «Mon Dieu! Quel sentiment de déréliction!»[5]

— Ладно, пусть чушь, как вы говорите, но очень дорогая форма «чуши». Она сляжет с высокой температурой, и ее *angustia*[6] перейдет во врачебный долг. А как иначе иметь дело с огромными

---

[3] Примечания: 3
Здесь автор обыгрывает название высшего судебного учреждения в Англии в 1487–1641 гг.

[4] Примечания: 4
Вечернее томление *(фр.)*.

[5] Примечания: 5
Боже мой! Что за преступное чувство! *(фр.)*.

[6] Примечания: 6
Тревога *(фр.)*.

кучами сухих листьев, с множеством невротиков, которые осаждают ее?

Некоторое время они ехали молча, и принц с хмурым видом хрустел костяшками пальцев. Храброй девочке, думал он, приходится противостоять очарованию и безрассудству вкрадчивого дьявола в человеческом облике. И это сводило его с ума, потому что и Аффада он тоже любил, как только можно любить ближайшего друга.

— Я не смею поделиться с вами моими тревогами, потому что вы слишком бурно на все реагируете. А что бы вы сказали, если б узнали, как мне хотелось, чтобы она забеременела — как хотелось посмотреть в лицо окончательной и бесповоротной катастрофе, которая навеки соединила бы нас? А?

Старик подпрыгнул от такого признания, но ничего не сказал, лишь долго смотрел вперед, прежде чем спросить:

— Она знает? Вы уверены?

— Увы, да! — ответил Аффад, почтительно придерживая принца за руку и не предполагая, что тот по-птичьему быстро взглянет на него и произнесет с неожиданным сочувствием:

— Вот несчастье! Бедная девочка! Но это лишь должно было придать твердости, даже жестоко-

сти вашему решению расстаться с ней. У меня такое чувство, что вы вели себя как настоящий трус и потерпели поражение от обоих — Эроса и Танатоса.[7] Да, да, ужасное несчастье, мой мальчик. Полагаю, вы вините любовь в своей нравственной неустойчивости?

— Чушь! — в свою очередь произнес Аффад и покраснел, осознавая, как сильно им недовольны. Его мысли, проделав полный круг, обрели необычную мрачность, вызванную угрызениями совести и пониманием того, что, в конечном счете, именно тайному братству принадлежит его жизнь и в любой момент оно может решить вопрос о его будущем. Что же за проклятие эта любовь, которая натравливает друга на друга, влюбленного — на любимую. Все друзья оказались отодвинутыми в сторону, когда Констанс остановила на нем свой выбор.

В таком же мрачном настроении Аффад сидел возле постели Блэнфорда, чьей дружбой дорожил теперь не меньше, чем дружбой принца.

— Это я виноват в том, что она прочитала часть чертова романа; она поняла, как важна для вас ваша вера… вы ведь ничего ей не говорили, пра-

---

[7] Примечания: 7
Влечения и Гибели.

вильно? О Господи, я ужасно виноват. Но с ее точки зрения вы попросту, так сказать, больны; страдаете опасной формой религиозной мании, которую она во что бы то ни стало должна вылечить, чтобы сохранить вашу жизнь!

Слушая его, Аффад сжимал руки. Он умолял друга избавить его от дальнейшего анализа. «Чертов» роман лежал на кровати. Время от времени Блэнфорд тоскливо касался его — с выражением глубокого сожаления на лице.

— Себастьян, пожалуйста, простите меня!

Аффад встал. Какое-то время он не двигался и, не отрываясь, с любовью и сочувствием всматривался в расстроенное лицо простертого на кровати друга.

— Обри! — громко сказал он и умолк. Всего-навсего слово, как нота в музыке. Он даже не сказал «до свидания», потому что это показалось бы неуместным — потому что он никуда не уходил в истинном смысле этого слова. — Пожалуйста, напишите мне, если у вас будет настроение, — тем не менее, добавил он. — Я не знаю, когда вернусь, но предполагаю, что месяца через три — четыре.

— Уверен, вы вернетесь. Я стал немного соображать, очевидная сумятица, кажется, обретает смысл. Теперь мне понятно, что я приехал в

Египет, потому что был болен, потому что мне не давали житья. Пришлось стать Синбадом, чтобы избавиться от Сатклиффа — вы наверняка замечали мои попытки освободиться от него, например, заставить его совершить самоубийство, использовав мост в качестве символа. Надо было получить дырки в позвоночнике, чтобы понять: единственный способ справиться с Сократическим Голосом[8] — это конкретизировать его, и пусть живет, проявляет себя. Тогда он становится безвредным призраком, быстро затихает, вворачивает классические фразы. Он все может, кроме одного — любить. Это уж приходится самому.

— Боже мой! — уныло произнес Аффад. — *Опять!*

— Я сформировал его, как формируется камень в почке — или тератома, или призрачная фигура двойника, которого выбрасывает вечная свидетельница рождения, плацента. К черту это словоблудие! Существо живо, оно приходит на ланч, скоро даже получит орден Британской империи за службу на благо короны. О Боже, Себастьян, жаль, что вы не можете остаться; я очень многому научился у вас!

---

[8] Примечания: 8
Внутренний голос, который Сократ называл Демоном.

Его друг стоял молча и с любовью глядел на него. Блэнфорд до того похудел, побледнел, выглядел словно выпотрошенным. Операции на позвоночнике отняли у него много здоровья, но, вроде бы, прошли успешно, и хирург верил, что следующая и самая главная станет последней. Потом, надо надеяться, мышцы больного обретут силу, и жизненный тонус восстановится, чтобы ему захотелось сначала сесть без чужой помощи, а потом и пойти. Пока еще это казалось неисполнимой мечтой. Сам Блэнфорд едва смел надеяться, опасаясь сокрушительного разочарования. Налив себе из бутылки, стоявшей рядом с кроватью, минеральной воды, он выпил ее залпом, но прежде произнес шутливый тост за здоровье посетителя. Ему был запрещен алкоголь перед операцией, иначе он предложил бы выпить на прощание. Скорее всего.

Итак, Аффад покинул палату в задумчиво-печальном молчании. В тот же день, когда медицинская сестра мыла и одевала Блэнфорда, к нему неожиданно и ненадолго заглянула Констанс — можно сказать, новая Констанс. Она побледнела от недосыпания и профессионального стресса и говорила вяло и необычно туманно. О своем любовнике она не обмолвилась ни словом, Блэнфорд

тоже промолчал, но. он уже окончательно удостоверился, что его страдание и нерешительность усилены его же собственной любовью к Констанс, а также сожалением о боли, причиненной ей его себялюбием и самомнением. Оба сидели молча, потом Констанс с робкой нежностью положила руку ему на плечо, и в этом жесте была несмелая мольба, вроде бы, о сочувствии. Им еще многое предстояло пережить. Теперь вот смерть Ливии.

Для Констанс стало совершенной неожиданностью то, что известие о ее смерти выбило из колеи Феликса Чатто — он был физически сломлен. Теперешнее положение в обществе и проклятая необходимость ему соответствовать опустошили юношу. Легкомысленная радость человека мира испарилась, и он пребывал в состоянии напуганного студента. Феликса глубоко потрясла ее смерть — ну да, когда она была жива, он пылко выражал свои чувства, однако сам никогда не верил в их прочность, наслаждаясь тем, что, подобно Ливии, заставлял страдать своего друга Обри. Теперь же, узнав от Констанс о смерти ее сестры, он сделал неожиданное открытие: вероятно, он все-таки любил Ливию — любовь вспыхнула вновь, стоило ему вспомнить о прошлом — Феликсу стало плохо при мысли об ее

уходе, хотя все тревожные, когда она исчезла и можно было лишь надеяться на лучшее, он как будто вовсе забыл о ней. (Мне надоело, думала Констанс, ухаживать за больными и выписывать успокоительные таблетки.) Тем не менее, парадоксальное поведение юноши тронуло и столь же сильно заинтересовало ее, сколь он сам удивлялся ему. Например, с жадностью ловя любое упоминание о смерти Ливии, он хотел знать в подробностях, как ее нашли, как вынули из петли и что делали потом, даже рана на бедре была важна для него — Констанс, вспомнив о давнем страхе сестры быть похороненной заживо, для уверенности вскрыла бедренную артерию! Ей вспомнилось, как она сама настойчиво требовала посвятить ее во все детали гибели Сэма — как, несмотря на душевную муку, заставила Блэнфорда рассказать все до последней мелочи. Таким способом она брала власть над болью и прятала ее глубоко внутри себя, а теперь это делал Феликс Чатто.

Любопытно было и то, что упоминание о Смиргеле, немецком информаторе, которого связывали с Ливией тайные, если не мистические отношения, затронули струну в памяти Феликса — он вспомнил, что еще до войны, когда они

были в Провансе, исчезновения Ливии будто бы соотносились с присутствием в Авиньоне немецкого ученого, которому доверили реставрацию некоторых наиболее знаменитых картин из городской коллекции. Этот человек был старше нее, этакий безобидный ученый зануда. Звали ли его Смиргел? Началось ли их знакомство в те времена? Надо попросить Аффада, чтобы он выяснил, подумала Констанс, и ее пронзила острая боль из-за разлуки с любимым, словно ее ударили ножом в живот.

— *Наверняка* это Смиргел! — воскликнула Констанс излишне эмоционально, стараясь заглушить боль воспоминаний. — Он сказал мне, что занимался двумя знаменитыми картинами. Одна из них — Клементов «Кокейн».

Откуда всплыло это воспоминание? Констанс не знала.

— Кто-то, — проговорил Феликс, — забивал ей голову рассказами о Гете, Клейсте, Новалисе, которыми она досаждала бедняге Обри, во сне цитировавшему Китса. Как-то надо перебороть это, не позволю, чтобы она своей смертью испортила мне жизнь.

Итак, любовь имела еще и постыдную сторону.

В тихом отчаянии Констанс отправилась об-

ратно в клинику, сомневаясь, что окружающий мир можно восстановить до степени приемлемости. И она сказала себе: «Всегда между Двумя людьми есть препятствие — процесс начинается *с первого взгляда,* Шекспир был совершенно прав, и Петрарка тоже, и Марло. Щелчок! И вдруг два человека начинают думать одинаково. Чуть ли не каждый духовный настрой кажется бессмысленным, банальным, вульгарным… Что еще надо понять? Да ничего!» Сгустились тучи и повисли низко над озером, готовясь к очередной из гроз, без которых не обходится жизнь в горах. Констанс все еще переживала первое объятие, хотя оно случилось уже как будто в доисторические времена. Но оно осталось в ее сознании и никогда его не покидало. Констанс очень переменилась. На полях в книге, взятой ею у Сатклиффа, она прочитала: «Некоторые люди могут одновременно быть собой и не собой, не осознавая этого». Поднялся ветер, и на поверхности озера появились черные отпечатки лап. Небо едва сдерживало ярость и было столь же грозным, сколь и приближавшийся нервный срыв, она чувствовала это. Пару раз Констанс пробовала заплакать, но ничего не вышло; мысли сделались неподвижными, как кости. Наконец пошел дождь, и она пробе-

жала последние сто ярдов, подняв над головой портфель.

Шварц, с которым они вместе работали, сидел, как каменный идол, за письменным столом и внимательно читал «Ньюс оф Уордд». После долгого общения с сумасшедшими он находил эти путешествия в реальность, как называл их, весьма освежающими и в длинном списке преступлений и человеческой глупости, происшествий и социального зла ощущал самоутверждение реального мира, отстаивающего свои границы. Правда, и этот мир казался ненадежным, в нем было слишком много наказаний — стоило допустить лишь один промах в словах или помыслах, и человек становился добычей врача, психиатра, жильцом окруженного лужайками и садами тихого отеля на берегу озера. Здесь, среди множества возрожденных из небытия теологии, они были глубоко убеждены в том, что наука вышла из игры и правит закон энтропии.[9] Реальность, которая когда-то казалась слишком «реальной», теперь являла себя лишь в качестве «тенденции»! Любая истина стала условной и относительной. Истина была истинной «вообще». Некто, возможно сам

[9] Примечания: 9

В некоторых контекстах энтропия интерпретируется как мера беспорядка (хаотичности) в системе.

Шварц, написал на доске над его столом:

Если бросить дважды кости,
Могут выпасть те же кости,
Разве некто шанс получит,
Коий всласть его помучит!

Оторвавшись от газеты и увидев несчастное лицо коллеги, Шварц ощутил приступ страха, потому что хорошо знал Констанс и знал пределы ее возможностей. От него не ускользнуло то, что она переживает опасный стресс. Он тяжело вздыхал, складывая газету, и внезапно принял решение. Не стоит отдыхом и успокоительными таблетками упреждать надвигающуюся болезнь — надо еще больше загрузить Констанс, передав ей пациента, который займет все ее мысли и умерит страдания. И, не дав себе времени на размышления, Шварц сказал:

— Послушай, Констанс, я принял решение насчет Мнемидиса, но хотел посоветоваться с тобой, прежде чем действовать. Надо передать его властям и признать, что у нас ничего не вышло. Он или отъявленный хитрец, или неизлечимый безумец. Как тут его лечить? Кстати, я боюсь его, а это плохой знак для врача! Вчера вечером опять слушал записи. Ничего хорошего. Он все время

играет, даже наедине с собой!

Констанс вскочила, щеки у нее горели огнем.

— Вы *отказываетесь* от него? — крикнула она с возмущением, и Шварц обрадовался. — Да это же самый интересный случай из всех, какие у нас были. Отправить его на двадцать лет в тюрьму значит упустить великолепные возможности, не попытавшись даже описать его паранойю. Какой стыд — о чем вы только думаете?

— О собственной шкуре, если честно. Он опасно вменяем и слишком хитер, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. Констанс, я проиграл. Сама послушай, ведь все, что он говорит, правда, и в то же время все — ложь. Он понемногу разогревается, а потом… раз! — преступление. К тому же это пустая трата времени, нашего времени, ведь есть другие больные, которым мы можем помочь. Неужели ты не понимаешь?

— Нет, не понимаю! Если вы сами не хотите им заниматься, отдайте его мне. Я не боюсь. Не забывай, У нас всегда под рукой старина «малабар»,[10] если что-то пойдет не так, если ситуация выйдет из-под контроля. Прошу вас, пересмотрите ваше решение, позвольте мне хотя бы немного

---

[10] Примечания: 10

Выходец из Южной Индии. Здесь: прозвище.

поработать с ним. Он ведь еще не говорил о своих убийствах, правда?

— Нет, в подробностях не говорил, пока еще старается оправдать себя — да с такой страстью, что волосы встают дыбом! Сегодня я собирался вызвать его. Пора сказать ему о моем решении и отправить в тюрьму, пусть отбывает наказание.

— Жалко! — сказала Констанс и схватила Шварца за руку. — Отдайте его мне. Кстати, чтобы обо всем забыть, мне надо заняться чем-то серьезным! Мнемидис, который старается выдать себя за другого Мнемидиса, как раз то что нужно. Пожалуйста!

Шварц изобразил сомнение и нерешительность. Впрочем, он и вправду не знал, насколько мудрым было его решение; кое-какие обстоятельства заставляли сомневаться в том, что появление на сцене женщины-врача не усугубит положение. Доводя себя чуть ли не до головокружения, он старался предусмотреть все. Шварц хотел помочь Констанс, но чувствовал, что рискует…

— О, Господи Иисусе! — воскликнул он, хотя не отличался набожностью, тем более был евреем. — Помоги мне, Боже!

На больничном языке «малабаром» называли сильного мужчину, который всегда был рядом,

чтобы предупреждать опасность со стороны буйных больных. В клинике работало несколько таких «малабаров», но любимцем Шварца и Констанс был Пьер — негр-гигант с Мартиники, соединявший в себе физическую мощь, теплоту и нежность, жестокость, но и любовь, которую не жалел даже для самых трудных пациентов.

— Пьер приведет его — а вот и они! Если считаешь, что справишься, то действуй! А я свои опасения оставлю при себе. Нет, ты только погляди на них.

Страж и пациент как ни в чем не бывало шли бок о бок через рощу. Мнемидис был худощав, с очень длинными руками и выпуклым лбом, придававшим ему профессорский вид — опровергаемый его своеобразным и солидным досье. Украдкой он поглядывал вверх, на лицо сопровождавшего его «малабара», и выражение лица у него было заискивающее, хотя, естественно, Шварц и Констанс не слышали, что он говорил. Негр не шел, а как будто плыл с невозмутимым видом, полузакрыв глаза и со стороны напоминая лунатика. Тем не менее, одной рукой он придерживал Мнемидиса за обшлаг пальто и невидимыми движениями направлял своего подопечного к зданию, которое занимали психиатры

и где располагались «исповедальни». Понаблюдав несколько минут, Констанс направилась к двери.

— Возьму его прямо сейчас, — решительно проговорила она, — а вы отдохните.

— Максимум осторожности, не забывай, пожалуйста! — крикнул ей вслед Шварц.

Сам он не забыл о металлическом ноже для бумаг, едва не спровоцировавшем нападение, которое могло стоить ему жизни.

Однако Констанс была опытна в «черной магии», поэтому, скользнув в кресло за пустым письменным столом, первым делом проверила легкий колокольчик, который мог пригодиться, чтобы призвать ожидавшего в коридоре «малабара», а затем невидимый глазок, через который Шварц, если бы пожелал, мог увидеть театр военных действий. Здесь было и записывающее устройство, хотя оно частенько подводило из-за жестко зафиксированного микрофона. Пока пациент лежал на кушетке, его голос записывался нормально, но стоило ему разволноваться и начать двигаться, как бывало не раз, или сесть — что наверняка будет делать Мнемидис — и записывающее устройство не срабатывало.

Положив руки на стол, Констанс стала ждать,

когда откроется дверь и Пьер введет своего подопечного. Наконец он вошел, сохраняя меланхолическое достоинство, в котором читались доброта и понимание, ибо нет ничего унизительнее, чем подталкивать впереди себя человека, который болен и знает об этом. Однако для Мнемидиса это было не так, потому что на его языке это называлось «чувствовать себя настоящим» в отличие от менее волнующих обстоятельств, когда он «чувствовал себя нормально ненастоящим». Ну и тип! Бочком войдя в комнату, он огляделся, словно узнавая невидимых свидетелей, которые непременно удивятся его затруднительным обстоятельствам.

— А где доктор Шварц? — нагло спросил он, не тратя времени даром, и стал, нависая над Констанс, ждать объяснений.

Было бы ошибкой объясняться, не вставая из-за стола, и Констанс, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, проговорила со спокойной властностью в голосе:

— Прошу вас, ложитесь на кушетку. А сумку оставьте на столе, где мы оба сможем ее видеть.

Мнемидису это пришлось не по вкусу, и он стал, как будто в страхе, озираться, но она терпеливо ждала, пристально глядя на него, и в

конце концов ему стало ясно, что придется лечь. Важно было, чтобы дамская сумка (из дешевой крокодиловой кожи) оставалась между ними, потому что в ней сосредоточилась его сила, его пагубный гений. Наверно, она была пустой, но ему представлялась чем-то вроде бомбы, его средством защиты и нападения. Стоило забыть ее где-нибудь, и он оказывался совершенно беспомощным. Все же Мнемидис положил сумку, и Констанс вздохнула с облегчением.

Некоторое время Мнемидис лежал на кушетке, улыбаясь и предаваясь воспоминаниям, пока Констанс внимательно наблюдала за ним и ругала себя за то, что в сущности — если быть честной — взяла этого больного, надеясь услышать имя другого уроженца Александрии, своего любимого Аффада! И ведь она знала — эти два человека никогда не встречались и не имели между собой ничего общего! Мнемидис как будто не замечал, где находится, поскольку его актерский дар мог унести его куда угодно.

— С чего начинать? — спросил он задумчиво и еле слышно. — Главное, могло ли все сложиться иначе? Что если бы я поступил по-другому? Вы когда-нибудь задумывались о том, каково быть Богом — если Бог есть? По-другому поступить

было нельзя. В моем случае — ах! слушайте внимательно. Что касается меня, то я от рождения лишен каких-либо способностей, в общем, ни ума, ни красоты. Я просто *существовал*, и мой ум был гладким, как яйцо, никуда меня не направлял, во всяком случае, не направлял к хорошему, поэтому общество должно меня терпеть… О Боже, пустота — пустота доводит до состояния психоза, чувствуешь себя ошибкой природы! Если много *скучать*, это разрушает. В моем случае это привело к вере. Случайно мне открылся *sortie*.[11] Свет. Я понял, что даже не будучи великим, могу проскользнуть мимо стражей в величие, не потревожив священных гусей…[12]

Тут его сильно затошнило, и он, словно эпилептик, с пугающей гримасой закатил глаза. Постепенно приступ сошел на нет, но он очень побледнел и выглядел уставшим.

— Ну? — проговорила Констанс, не желая терять неожиданно обретенный контакт с больным.

— Ну! — откликнулся он. — Однажды на вече-

---

[11] Примечания: 11

Выход *(фр.)*.

[12] Примечания: 12

В 390 г. до н. э. священные гуси Юноны предупредили римлян о готовящемся нападении галлов.

ринке, неожиданно для себя самого, я засмеялся, словно настоящий актер, наверно, чтобы позабавить остальных. Изобразил каркающий истерический смех служанки. Это был успех, и я понял, что родился имитатором. С тех пор меня часто звали на вечеринки, где я хохотал, а остальные восторгались или дрожали от страха, если это продолжалось слишком долго.

Он поднес руки к горлу, словно вспоминая прежние раны.

— Потом были другие голоса, у меня появился целый репертуар, я словно стал отелем со многими комнатами, в которых жили разные люди. Надо было быть внимательным, чтобы не перепутать ключи. Смеяться перед публикой профессионально — совсем другое дело. Я стал путешествовать между живыми и мертвыми — по предложению моего любовника, старика, который гнулся под тяжестью своих знаний. Вертер, Клейст, Манфред, Байрон, Гамлет. Он не мог справиться с ними, поэтому сбросил их всех мне. Как вы понимаете, я ничего не читал, но он направлял меня, натаскивал и инструктировал, так что они казались более реальными, чем если бы я сам читал их или о них. Постепенно я обогащал свое искусство, добавлял разные краски, строил

страшные рожи, кашлял, затихал, изображал падающую звезду или сверкающую молнию. Револьверный выстрел, стенанье, вздох — Казимир развивал некоторые мысли и закладывал их в меня, чтобы я проигрывал их. А потом я вошел в новое пространство всепоглощающего уныния. Сказывалось переутомление. Понимаете, с самого начала этот человек поработил меня против моей воли. В Египте это не редкость, такой вид колдовства. Когда я вначале отверг его притязания, он тоже использовал магию. Много позже его жена Фатима рассказала мне, в чем ее суть, — ей он тоже угрожал. Он заставил ее сделать ему фелляцио,[13] схватив ее за волосы и зажав, словно в тисках. А свободной рукой набрал номер моего телефона и долго говорил мне нежности, умолял о любви — не оставив у меня сомнений, чем он занимается и с кем. В то мгновение, когда он почувствовал, что его сперма перетекает в рот Фатимы, я тоже это почувствовал, потому что он все время мысленно представлял мой «эйдолон»,[14] как мы его называем. Я закричал, бросил трубку, но дело было сделано. На другой день я проснулся

---

[13] Примечания: 13
Оральный секс.

[14] Примечания: 14
Здесь: кумир, идол *(греч.)*.

с головной болью, в горячке, и у меня болело горло. Я мечтал о нем. Пылал как в огне. Наконец меня истощили волны, которые он мысленно посылал мне, — он был сильный — и я сдался, позвал его к себе. Ждать я не мог, так как мною владело безумное желание подчиниться ему.

Вот так это случилось. Он был напористым, порочным, но очень умным, владел колдовством и имел кучу денег. Но выглядел печальным и разочарованным, его глаза настолько не умели улыбаться, что внушали трепет, будто имеешь дело с мертвецом. Обычно он говорил: «Время разъедает меня изнутри, а в моем сердце лишь колючая проволока». Я перестал его ненавидеть, ненависть притупилась. Сделавшись его рабом, я возненавидел самого себя. Но говорил себе: придет день, и он *заплатит* за все. Меня не удивило, когда из города явился посланец с письмом. Началась новая эра. Сосуды у меня в голове стали наполняться громко пульсирующей, бьющейся об их стенки кровью! Незнакомец спросил: разве не справедливо, если Казимир за все заплатит, если он умрет? Казалось, другого и быть не может; немногочисленные друзья отвернулись от него. Им был нужен послушный инструмент для исполнения наказания — так сказал незнакомец.

Послушный. Инструмент. Я с любопытством смотрел, как старик спит, и мне казалось, что он уже близок к смерти. Однажды Казимир почувствовал мой взгляд и, открыв один глаз, сказал: «Ты должен знать, что это произойдет с *полного* моего согласия. Не бойся совершить неминуемое, если тебя попросят!» Неужели он знал?

Я уже вовсю мошенничал — имитировал его голос по телефону и делал заказы в магазинах, естественно, на его имя. Мне требовались горы украшений, чтобы скрыть свое уродство. Он знал и молчал. Что до Фатимы, то я оставил ее для другого случая, для другой страны, для другого способа. Симптомы были очень похожи, но порошок не оставил следов на органах, хотя она заранее написала письмо, чтобы разоблачить меня, так как получила предостережение.

Констанс сосредоточенно вслушивалась в заученный монолог одинокого человека, лишенного каких бы то ни было чувств. А он продолжал:

— Я обнаружил, что когда *совершаю* что-то, то совершаю как будто не я. А где же тогда я сам? Где мое «я»? Мой глаз?

Одиночество лжеца! Напоминая китайского болванчика, он медленно раскачивался, словно под воздействием морфина, хотя, конечно же,

ничего такого не было. Он всего лишь показывал, как бежит, как убегает время.

— Тик-так, — говорил он. — Оно проходит. Тик-так. У вас есть часы? У всех врачей есть часы. Можно посмотреть? Пожалуйста.

У Констанс и вправду были часы в кармашке белого халата. Прелестные маленькие овальные часики. Она положила их перед ним на стол, и он тотчас взял их с выражением робкого восторга, внимательно осмотрел и прижал к уху. Потом он проглотил их прямо у нее на глазах, и они молча в изумлении смотрели друг на друга, потому что казалось, что он и сам удивлен своим поступком. Главное было не переиграть, как с ребенком, проглотившим косточку от персика. Констанс не отрывала от него глаз.

— Зачем вы сделали это? — спросила она в конце концов.

Он покачал головой с выражением детского удивления на лице.

— Не знаю. Мне вдруг захотелось остановить мир. Он сильнее меня. Но *его* мир я остановил, правда? Несмотря на нашу любовь, я сделал это раз и навсегда. Признаю, сейчас я поступил не очень-то умно.

Электрические часы на стене показали, что

сеанс подошел к концу, и Констанс встала.

— Я скажу Пьеру. Он знает, что делать.

— Мне не хочется просить прощения, — произнес Мнемидис, и у него задрожала нижняя губа, словно он собирался заплакать.

Констанс нажала на звонок, и в дверном проеме тотчас возник улыбающийся негр. Спокойно рассказав о случившемся, она, как ей показалось, успокоила больного, который улыбался и кивал головой. Пьер с вежливым равнодушием взял его за рукав, и они вместе отправились в отделение для буйных, степенно шагая между деревьями. Констанс проводила их взглядом, после чего проскользнула в свой кабинет, предварительно убедившись, что Шварц ушел. Из пишущей машинки торчал лист бумаги, и, наклонившись, Констанс прочитала: «Однако Фрейд, подобно Дарвину, был честен до святости. В их искреннем научном атеизме был заложен необходимый ригоризм, который принес свои плоды. Когда смотришь в телескоп с большим увеличением, захватывает дух от явленного образа. До чего же обеднился диалог. Им правит не наука, а пустословие! Париж, вместо того чтобы сыграть плодотворную роль вместо убитой Вены, вновь утвердился в своей менее значительной роли

как столица моды в идеях, то есть всего поверхностного. Морская пена политики, созданная образованными и имеющими вкус трусами. *Barbe à papa*,[15] химерическая культура».

Во время войны Шварц стал весьма критически относиться к роли Франции. «Как писал сам Дарвин: "Наблюдающий разум пагубен — зато до чего же он полезен потом!"»

Пока она читала, появился доктор Шварц, как всегда, иронично-любопытный.

— Ну? — спросил он.

И Констанс в подробностях поведала ему об общении с Мнемидисом, а также о том, как он проглотил ее часы.

Шварц с удовольствием посмеялся.

— Бедняжке Пьеру теперь придется следить за его испражнениями, пока часы не появятся, если они появятся. Как ты понимаешь, он может и переварить их! Однако, слава Богу, *тебе* как будто полегчало! — Пока они говорили, он положил пальцы ей на запястье, чтобы посчитать пульс. — И ты уже не такая бледная! — Возможно, демон слабости покинет ее, и она придет в себя без постороннего вмешательства. — Сатклифф при-

---

[15] Примечания: 15
Сладкая вата *(фр.)*.

слал еще одно оскорбительное письмо, вероятно, написал его, когда был пьян. — Шварц взял в руки листок бумаги и принялся медленно читать вслух: — «Проклятый Шварц, ты поддерживаешь все безнадежное, и самое безнадежное — Любовь, но почему бы тебе не избрать другой метод? Вместо того чтобы беспокоиться об *изменении* мира, почему бы не понять и не принять его таким, каков он есть, признав, что его порядок священен, что реальность, к которой мы оба причастны, реализует себя именно *так,* и не иначе? Перестань сомневаться! Если перестанешь, стоит тебе перестать, и наступит очередь великого парадокса: мир автоматически и неизбежно изменится сам по себе. Во всяком случае, так говорят! Прощай!»

— Не сомневаюсь, что он опять пьет. Думаю, вам необходимо разочек сыграть с ним на бильярде.

Шварц изумился.

— Проклятье! Мне?

Он выставил вперед руки, словно защищаясь. Рабочий день закончился, и теперь оба не знали, как провести вечер. Шварц склонялся к тому, чтобы пойти в кино. А Констанс с ужасом думала о своей пустой квартире. Больше, чем когда-либо, ей хотелось быть с кем-то, чтобы в оставшееся до

сна время не копаться в себе! Казалось, Шварц был озабочен ее внутренним равновесием не меньше, чем она сама.

— Констанс, когда ты собираешься навестить сына Аффада? Ну, того, который страдает аутизмом.

Она села и задумалась.

— Не знаю. Я в таком ужасном состоянии, мне надо немного прийти в себя.

Шварц покачал головой.

— Я бы отправился немедленно, хотя бы для того чтобы сделать первый шаг. В конце концов, не исключено, что ему ничем нельзя помочь. Дети богатых и гордых своим богатством родителей всегда в большой опасности.

Дети!

Ей вспомнилось, как Аффад с насмешкой произнес нечто вроде: «Дети! Они являются на тот свет, чтобы разочаровывать своих родителей, так как наши родители строят для нас золоченые уютные клетки, чтобы мы жили счастливо — и посмотрите, что из этого выходит: изгнание, потери, разврат, путешествия, отчаяние, восторг, болезнь, любовь, смерть: вся жизнь становится одной-единственной раной, как от поцелуя шлюхи».

Констанс с печалью думала об отсутствующем Аффаде и, вдруг придя в себя, увидела, что Шварц смотрит на нее озабоченно, с тревогой, словно стараясь понять, выстоит ли она в этот переломный момент своей жизни.

— Боже мой, до чего же убогая у нас профессия — или мы измучены непосильной задачей и малыми знаниями. Я стал назначать таблетки, первый знак отвратительной фрустрации. А ведь в наши обязанности входит учить пациентов, как вернуть ощущение радости, беспечности, покоя, похожего на смерть, но ведь не умирания же… И вот мы заболеваем сами. Ты меня беспокоишь. Ты стала занудой.

Вот так Шварц!

— Хотите сказать, я влюбилась? Я и сама знаю!

— Но он не поэтому уехал?

— Нет. Все гораздо сложнее.

И гораздо сложнее, и совсем просто, совсем ясно.

— Знаете, что я думаю? Я думаю, что надо подлечить мое чувство собственного достоинства, и для этого купить на зиму шубку. Прежде мне было недосуг, а теперь, кажется, самое время. Как вы считаете, это будет хорошим завершением дня?

— Да. Здоровый инстинкт! — произнес он не

без доли иронии.

Ему вдруг захотелось добавить, что так поступала Лили, когда ее одолевало уныние, но при мысли о том, что он предал ее, а он постоянно винил себя в этом, у него самого испортилось настроение. Когда он отправлялся в кино, то старательно избегал смотреть «новости», предшествовавшие фильму, если только в них не было сюжетов о поражениях германских войск.

— Еще фотографии, это вторая причина, — сказала Констанс. — Я нашла их у Аффада, целое выставочное собрание, не уместившееся на столе и потому разложенное еще и на полу. Жуть такая, что сводит с ума. И слезы не помогут. Одно желание — биться головой о стену из-за непонимания. Как они *могли?* Как мы *могли?*

Шварц вздохнул и стал выводить таинственные диаграммы в блокноте, приспособив его у локтя.

Великая неразбериха, вызванная началом войны, уступила место своего рода неестественному порядку, который властвовал в течение нескольких лет. Образовалась некая необдуманная система, опиравшаяся на прежние военные и политические возможности. Теперь же, с возвращением неустойчивого, фрагментарного

квази-мира, этот порядок опять потревожен, и в куда большем масштабе, потому что мир покачнулся под ударами молота больной Германии. Смятение в умах стало еще сильнее. Швейцария представляла собой оазис спокойствия, остров в окружении стран, озабоченных расформированием армий, возвращением жителей, отсутствием всего чего ни хватись, страдающих от нарушенных коммуникаций, разорванных социальных связей, — все это надо было восстанавливать, склеивать. Жуткие фотографии, о которых говорила Констанс, были сделаны освободительными армиями в концентрационных лагерях. Естественно, все знали о концентрационных лагерях, но отказывались осознавать, принимать то, что знали. Красный Крест получал чудовищные материалы с инструкцией военных и политических властей как можно шире их распространять. Фотографии были увеличены для выставки, которой предстояло продемонстрировать лагеря во всем их непередаваемом кошмаре. Идея состояла в том, чтобы устроить передвижную выставку, а тексты под фотографиями перевести на несколько языков. Это стало заботой Блэнфорда, а весь проект не раз обсуждался на совещаниях комитета.

— Из протоколов собраний я узнала и не понимаю, — сказала Констанс, — почему вы настроены *против* того, чтобы показать людям эти фотографии. Мы думали, что для вас как еврея…

Шварц издал звук, похожий на фырканье.

— *Aber*[16] Констанс, в первую очередь я врач, и мое решение связано именно с этим. Ужасная тема; несправедливость, кошмар почти осязаемы, а мы устраиваем из этого стриптиз? Естественно, документы надо сохранить, но нам придется как-то взять себя в руки и простить то, что невозможно забыть. В конце концов, это извержение немецкого *lust-morder*[17] стало следствием национального заблуждения в фантастическом масштабе. Разве не интереснее то, что поначалу им удалось привлечь на свою сторону французов; да и, вне всяких сомнений, англичане повели бы себя так же, если бы немцы пересекли Ла-Манш. Все это медицинская и философская проблема такой великой важности, что нам надо, насколько возможно, спокойно ее изучить, как мы изучаем Мнемидиса. Вот была бы победа, если бы нам удалось пролить свет на Фаустово превращение и

---

[16] Примечания: 16
Однако *(нем.)*.

[17] Примечания: 17
Убийцы-садиста *(нем.)*.

заставить нашего подопечного работать с нами, а не против нас. Грубо говоря, я думал об этом, когда голосовал против.

— Ясно.

— Сомневаюсь. А вот Аффад понимает. Мне представилась возможность поговорить с ним, и, естественно, в будущей книге я попытаюсь сделать обобщение. Наша цивилизация узаконивает падение Люцифера, Икара!

Констанс ощутила прилив благодарности к этому человеку за все, что он делал для нее в течение многих лет, прилив любви и восхищения, потому что он никогда не терял достоинства и был предан своему искусству. Шварц поклонялся методу как мудрому старому богу, но он и был таким на самом деле.

— Аффад не ошибался, когда говорил, что самым трагическим в решении немцев уничтожить евреев было то, что, принеся с собой много крови и страданий, оно оказалось в высшей степени *легкомысленным* — жестокий парадокс! Проблема евреев гораздо серьезнее и имеет под собой алхимическое *prise de position*[18] в решении больного вопроса материи. Демос Демос

---

[18] Примечания: 18
Здесь: устоявшееся мнение *(фр.)*.

Демокрит… теперь мы понимаем, что материя не экскременты, а мышление. Если мы добрались до конца цикла и теперь погружаемся в высокомерное *завершение,* то как еврей я не могу не гордиться величайшим достижением еврейской мысли. У меня из головы не выходят имена трех величайших поэтов. Колоссальный Люциферов прыжок во тьму детерминизма. Останется ли время, чтобы скорректировать угол видения, вот что мучит меня. Еврейская страсть к философии абсолюта и материализма уже несколько видоизменилась, энтропия — таков новый знак! Фрейд появился на сцене как новый Мерлин, чтобы принять вызов Дельфийского оракула. Он решил загадку Эдипа. Герой! И заплатил за это органом речи, как Гомер и Милтон заплатили слепотой за свое провидение! Однако соединение золота и материи является проблемой философской, и ее не решить физическим уничтожением евреев. Наш расистский пыл должен быть менее инстинктивным и более бескорыстным. Еврейский ум пока не приспособлен к *игре!* О Иисусе Христос, к чему вся эта пустая болтовня? Кто будет читать мою книгу? Меня объявят антисемитом!

— Да, — сказала Констанс, — я знакома с таким соображением, благодаря… — Странно, но ей

было трудно произнести имя. — Благодаря Аффаду! — Вот! Но на нее вдруг напала робость. — К несчастью, мы все еще нуждаемся в героях. Мифы не могут получить окончательное воплощение и не могут быть реализованы в душах людей, которые ищут пищу в жертвоприношениях, потому что реальность невыносима в своем обыденном виде, к тому же смертный, как бы он ни был бессловесен, всегда почует мошенничество.

— Ну да. Вот и ублюдок Юнг говорит то же самое. Кое-что в нем Аффаду нравится, но не все. Работа алхимика заключается в очищении лечебного отвара — собственное «я» фильтрует себя в мыслях, которые управляют действиями, и медленно, одна удивительная капля за другой, добродетель, что есть пустота, выпадает в осадок.

Шварц и Констанс засмеялись, причем Шварц с ироничной венской безнадежностью, которая сформировала слишком много поколений. Это не был цинизм. Это было глубочайшее созидательное недоверие к тому, что происходило в реальности, в истории.

— Нечто вроде *pourriture de soi*...[19] — тихо произнес он.

---

[19] Примечания: 19
Саморазложение *(фр.)*.

Обоим было интересно знать, что Мнемидис извлечет из беседы с Констанс — он отлично умел выражать свои мысли. Как говорить с ним о предметах, которые, в конце концов, были жизненно важны для его здоровья, для его излечения? Его ответ будет «проигран»: для него всякая любовь представляла собой дар сомнения, управляющий сердцем человека.

Шварцу до смерти надоел и этот мир, и его творения. Точно так, как он чувствовал под пальцами пульс Констанс, он чувствовал, как в его душе скапливается тяжелое отчаяние, словно осадок в бутылке плохого вина, а это всегда толкало его к самоубийству — самоубийству, казавшемуся неизбежным. Когда-нибудь так и будет, на этот счет у него не было сомнений. В такие моменты, едва дьявол хватал его за горло, ему хотелось спрятать лицо между грудей женщины, чтобы забыться.

— Вчера ночью мне приснилось, что мы делаем Мнемидису укол и убиваем его. Вы мне помогали. Мы были очень счастливы, когда избавились от него!

Вздохнув, Шварц протер старые очки в роговой оправе и подумал: «Вопрос терпения. Немыслимый вес космического смирения, инерция массы

преобладает надо всем».

— Я бы не отказалась от сухого мартини, — проговорила Констанс.

— Решено! — воскликнул Шварц, снимая белую тунику.

На пароме они пересекли озеро; на его стеклянной поверхности отражался приближающийся вечер, потом медленно пошли в город — осмотрительно обходя старый бар «Навигация», потому что им больше не хотелось разговаривать, — и медленно приближаясь к главному вокзалу, где был первоклассный буфет, но о довоенных по величине и качеству порциях мартини и здесь приходилось лишь мечтать. С барменом они были знакомы давно. Когда-то в юности он служил в отеле «Риц» в Париже. Собственно, им хотелось посидеть вместе в тишине. И это у них получилось, разве что, когда они усаживались, Шварц сказал: «Я очень беспокоюсь за тебя». И она ответила: «Знаю — у меня развивается неврастения, как инфлюэнца. Ничего, обойдется, вот увидите». Всё. Только это, да еще алкоголь, горевший в мозгу, словно спиртовка. И, конечно же, заглушаемые тяжелыми дверьми романтические гудки прибывающих и отходящих поездов.

Недавно, месяца три назад, у нее произошла

случайная встреча, которую она довольно быстро стала считать предопределенной; она сама удивилась, что не упомянула о ней, хотя как раз из-за нее стала заниматься совершенно новой программой здоровья человека: активизацией собственных усилий как средства оздоровления. Довольно долго она относилась к этому скептически и как ученый без особого интереса. Идя однажды с Феликсом Чатто по улице Конфедерации в сторону кафе, где можно было посидеть и посплетничать, она лицом к лицу столкнулась с маленьким, одетым в белое человечком, которого поначалу не узнала. На первый взгляд это был индийский мудрец, скорее всего йог. Темное, с негроидными чертами лицо обрамляли ниспадавшие на плечи белоснежные волосы. Одет он был во все белое, подобно индийскому *sadu* или святому человеку, и по грязному тротуару шел босиком. Он широко раскинул руки, заметив Чатто и Констанс, и так стоял, молча им улыбаясь. Кто бы это мог быть? Они долго вглядывались в это видение, пытаясь разглядеть черты сквозь серебристые волосы, как сквозь джунгли, когда хочется понять, что за диковинный зверь находится поблизости. Маленький мудрец пришел им на помощь.

— Не может быть, мистер Чатто, сэр, и мисс Констанс, до чего же я рад видеть вас! Что вы тут делаете?

Что они делали в Женеве! Постепенно за оболочкой индийского мудреца, напрягая память, они обнаружили другое лицо, которое проявилось, как фотография.

— Макс! — вскричала Констанс.

— Макс! — эхом отозвался Феликс Чатто, не сразу придя в себя от изумления.

Потом все трое стали жать друг другу руки, обниматься, что-то одновременно говорить. Макс был лакеем и шофером лорда Галена, которого они видели в то самое лето, что провели вместе в Провансе; старый негр-боксер, скромный спарринг-партнер Галена на лужайке по утрам! Как случилось, что они совсем забыли о нем — о фиолетовом шофере, который часто одевался, как итальянский адмирал?

— Макс, — проговорила Констанс, — вы очень изменились, как это случилось?

От волнения Макс вновь заговорил, как чернокожий бруклинец.

— Я теперь совсем другой, мисс Констанс, другой! Совсем другой! Когда мы были в Индии, то изучили там новую науку. Она лучше, чем

остальные! — Он протянул к ним руки, и на лице у него появилось ангельское выражение счастья и благочестия. И Чатто, и Констанс смутила новая инкарнация Макса, его новая маска — если это была маска. Все еще держа обоих за руки, он, едва дыша, объяснил, как с ним случилась перемена. — Когда лорд Гален уехал домой, я решил отправиться в Индию. У меня уже было несколько приглашений от старика, которого я очень уважал, — я встретил его в Авиньоне. Он пришел в боксерский клуб, где я разминался. Но боксером он не был, зато был борцом и йогом. Мы немного поработали с ним, и он настолько меня заинтересовал, что я решил ехать в Бомбей. Благодаря ему, я тоже стал йогом и учителем. Когда я еще был там, он попросил меня взять одну из его групп в Женеве. И вот я здесь!

Невероятно! Такая перемена, да еще в столь короткий промежуток времени — это казалось почти чудом. Чатто и Констанс потащили Макса в кафе, где заказали чаю и кексов, рассчитывая забросать его вопросами о его новом предназначении. Из всей их компании лишь Ливия выказывала интерес к йоге как к средству оздоровления, однако именно это, возможно, не было известно Максу в давно ушедшие времена, так

как ее интерес к йоге возник в Германии, когда она флиртовала с национал-социализмом. Но Констанс не стала упоминать ее имя — зачем? Серьезность и простота, с какими Макс рассказывал о своей новой жизни, о том, как вместо боксера сделался йогом, сами по себе были интересны — Констанс поразила происшедшая в Максе перемена, а также естественность и живость, с какими он повествовал о ней. Он изменился до неузнаваемости! В Индии он стал лучше говорить по-английски, но теперь время от времени в его речи проскальзывал бенгальский акцент. Констанс была не в силах сдержать радость, и когда Феликс Чатто отправился на службу, она еще час просидела в кафе, искренне заинтересованная в психологической перемене, которая произошла со старым другом.

— Естественно, наши занятия йогой не являются лечением, но здесь я замечаю разительные перемены в людях, занимающихся йогой, и никак не могу понять, что же это такое. Теперь врачи посылают к нам пациентов, если не могут справиться сами. У нас много молодежи, страдающей от стрессов и душевных переживаний, — мы помогаем избегать нервных срывов. В Индии все иначе, там, если можно так сказать, эго не стра-

дает от нагрузок. Приходите в нашу студию. Ну, конечно, приходите, это будет здорово, еще как здорово. Я ведь здешний босс — правда, смешно?

Тем же вечером Констанс и впрямь отправилась к Максу в студию и наблюдала урок хатха-йоги, который проводила молодая девушка. Какой-то частью своей души она отозвалась на это, ей как будто захотелось влиться в здешнее сообщество, познать ритуал. В конце концов, чем была ее собственная медицинская практика? Ведь она тоже занималась изучением стрессов в экстремальной форме. Почему бы не изучить древний метод, а там и посмотреть, как он сообразуется с ее собственными умозаключениями?

Позднее, сидя в крошечном кабинете Макса за чашкой чая, она сочла естественным, что он подался к ней и коснулся ее колена со словами:

— Знаете, я думаю, вы могли бы поработать с нами и научиться кое-чему, что пойдет вам на пользу. Может быть, если бы вам хватило терпения…

— Мне всегда хватало терпения изучать нечто новое, — с улыбкой ответила Констанс. — Но вы должны объяснить, где и с чего следует начать.

Негр улыбнулся и похлопал ее по руке.

— Если не возражаете, я пойду с вами в деше-

вый магазинчик, где вы купите себе специальный коврик. Это первый и очень важный шаг, вы сами поймете, насколько он важен, вы даже полюбите этот коврик. Он будет частью вашей работы, вашего дыхания, и ваш разум сосредоточится на нем, пока вы будете на нем работать, а, может быть, просто лежать и отдыхать. Такие коврики стоят недорого, вы видели эти подстилки в классе. Однако нужно подобрать цвет, который вам понравится, и тогда вы захотите всегда держать его при себе — наверняка захотите. Коврик станет бесценным для вас, как ваш молитвенник. Память ваших усилий.

Макс говорил и говорил в таком духе, ведя ее вниз по лестнице, через внутренний дворик к выходу на улицу. Они зашли в магазин напротив, где Констанс покорно купила коврик. Потом вернулись на ее первый урок. Студия представляла собой грандиозное современное сооружение, часть всячески разукрашенной турецкой бани. Когда они вновь пересекали главный двор, Констанс была поражена тем, как два ученика-йога старательно жгли свои коврики на жаровне. Изумленная их странным поведением, она обратила на них внимание Макса.

— Какого черта?... — в замешательстве вос-

кликнула она.

Макс засмеялся.

— Они *поняли!* — загадочно ответил он.

Констанс растерялась.

— Но после того, что вы сами говорили о ваших ковриках… — в изумлении проговорила она.

Макс покачал головой и засмеялся еще громче.

— Послушайте, — произнес он в конце концов, — в том, что они делают, нет никакой мистики, но мне не хотелось бы вдаваться в исключительно интеллектуальные объяснения. Лучше оставить это на потом — придет время, и вы сами во всем разберетесь.

Они поднялись по лестнице, продолжая разговаривать, и тут Констанс озарило. Она остановилась.

— Думаю, я поняла. Привязанность!

— Правильно, — с усмешкой подтвердил Макс. — Так оно и есть!

Констанс сама удивилась своей неожиданной и ничем не подготовленной формулировке. Откуда она взялась? Очевидно, когда-то Констанс читала об этом — хотя восточная метафизика была далека от круга ее интересов и занятий.

— Вам известно больше, чем вы сами думаете, — весело произнес Макс. — Сейчас я отправлю

вас в класс для начинающих, чтобы вы выучили алфавит; потом станете из букв складывать слова, а из слов — предложения. Так будет, если вам хватит терпения и вы не бросите занятия. Такое тоже случается, но это неважно. Наука существует для тех, кому она действительно нужна и кто готов приложить усилия. Вот мне хотелось быть *первым* — я больше ни о чем не думал и принес немало мертв, чтобы стать тем, кем стал. Однако не се получилось, у меня нет своего класса. Возраст, ничего не поделаешь.

— И что теперь?

— Благослови вас Бог, я счастлив, правда, счастлив и не таю плохих мыслей. Мне показали, как можно медитировать, чтобы отказываться от зла и постепенно делать гармоничными свои отношения с огромным миром.

— Звучит здорово!

— Так и есть. Уверяю вас!

Вот так для Констанс началось проникновение в тайны мастерства, и, вспоминая об этом, она понимала, почему ни разу не упомянула о своих занятиях в беседах со Шварцем. Пару раз он намекал, мол, все исходящее из Индии сомнительно с точки зрения разума для ученого двадцатого столетия — а она очень ценила его

доброе мнение о себе! Если ее спрашивали, то она отвечала, что дважды в неделю ходит, чтобы расслабиться, в турецкую баню. Так что йога оставалась их общей с Максом тайной. Правда, не совсем — ибо позднее Аффад восстановил доброе имя йоги, заметив то, что не сумели заметить ни Макс, ни Шварц — у столь разных наук в основе одна и та же суть. Макс не изучал психиатрию, а Шварц не был силен в йоге, поэтому Констанс казалось, будто интеллектуально она живет двойной жизнью, и оба учителя посягают на ее время и разум. Если бы пришлось, Шварц процитировал бы Киплинга насчет того, что Восток есть Восток и т. д. Слава Богу, в один прекрасный день Аффад удивил Констанс тем, что заявил, будто бы «поле недискретных величин Эйнштейна, «Оно» Гроддека,[20] "геральдическая вселенная" Персвардена[21] — одна и та же концепция, сообразующаяся с формулировками Патанжали».[22] Когда Констанс услышала это, у нее от радости

---

[20] Примечания: 20

Зигмунд Фрейд считал Георга Гроддека величайшим аналитиком и у него позаимствовал одно из основных понятий психоанализа — Оно.

[21] Примечания: 21

Персонаж «Александрийского квартета» Даррела.

[22] Примечания: 22

Автор труда «Йога-Сутра», написанного, как считается, больше двух с половиной тысяч лет назад.

подпрыгнуло сердце, ибо груз утомительных размышлений уже начал угнетать ее, сбивать с толку, заставляя сомневаться в собственном методе. Ну, конечно! Это была еще одна причина любить Аффада — понимание намного важнее физического влечения. Пока она и Шварц молча сидели друг против друга, у Констанс появилось ощущение его физического присутствия — наверное, он как раз в это время думал о ней и желал ее. Поезда подходили и уходили, и лес человеческих ног ступал по темной мостовой за окнами бара. Констанс пила и прислушивалась к собственным мыслям, которые словно мыши шмыгали туда-сюда у нее в голове, и все мысли были о прошлом. Удивительно, но разрыв их с Аффадом отношений как будто остановил ее на ходу — ей казалось, что у нее нет будущего, все осталось в прошлом и купалось в солнечном свете воспоминаний. Где ты, Аффад?

Глава вторая
Расследование

И правда, где? Из-за плохой погоды самолет задержался в Турции — и принц вел себя так, словно это было сделано нарочно, чтобы позлить его. Ничто не могло разубедить его в том, что турки («у них души из грязи, как у нубийцев») устроили все из-за своей необъяснимой нелюбви к египтянам, даже ненастную погоду. Весь уик-энд они мрачно наблюдали дождь и облака, словно дым стелившиеся над городом, — в лучшие времена гордой и мрачной столицей. Даже Босфор не пленял своей красотой из-за ветра, больших волн и стремительно надвигавшейся тьмы. И обычно приятная экскурсия в мечеть Аюба не привлекала в такую хмурую погоду. Более того, им было тяжело говорить и о поездке, и о Констанс; и каждый раз, едва принцу слышался намек на запретную тему, он впадал в бешенство и проявлял такую язвительность, что многострадальный Аффад тоже испытывал приступы гнева. Они сидели в отеле среди пальм, и принц, нетерпеливо хрустя пальцами, просматривал старые газеты, тогда

как Аффад, жалея себя, раскладывал пасьянс на обитом зеленым сукном карточном столе, время от времени почти беззвучно и на разных языках проклиная все на свете. Приближающееся Расследование вселяло в него дурные предчувствия, отчего он был преисполнен виноватого уныния. После очередной остроты принца Аффад повернулся к нему и сказал:

— Прошу вас больше не говорить на эту тему — ваше мнение мне отлично известно! Я знаю, что должен подвергнуться допросу и ответить за вопиющий и прискорбный недостаток мужества — но позвольте мне самому в тишине подготовиться к этому и перестаньте меня мучить…

— *Кто кого* мучает? — грозно завопил принц.

— Вы — меня, — в запальчивости отрезал Аффад. — И если вы не перестанете, я полечу на другом самолете.

Принц насмешливо фыркнул.

— Позволю себе спросить, это на каком же «другом»?

Замечание было как нельзя более уместно. Они послали телеграмму, извещая о том, что прибудут в Александрию с опозданием. Помолчав немного, принц все же не удержался от враждебного выпада.

— Надеюсь, у вас хватит мужества признать, что вы оказали дурное влияние на бедную девушку — не говоря обо всем остальном, вы подвигли ее на занятия йогой-богой, которой она, увы, заинтересовалась.

— Вам, принц, тоже неплохо бы заняться йогой, прежде чем вы развалитесь на части. Вспомните, какие у вас бывают ужасные приступы ишиаса. А ведь вы могли бы обойтись без уколов. Да и живот…

— Что с моим животом? — высокомерно спросил принц, принимая важный вид.

— Принцесса считает, что он слишком выпирает.

Маленький принц засопел.

— От людей моего положения не ждут, что они будут принимать всякие позы в набедренной повязке или питаться одним козьим молоком. Кем, черт бы вас побрал, вы меня воображаете? Ганди? При моем образе жизни, в моем возрасте говорить о физическом состоянии… это противоречит здравому смыслу. А вы серьезного ученого научили всяким индийским мумбо-юмбо. Это вы-то, имея научную степень по экономике и гуманитарным наукам!

На этот раз в бешенство впал Аффад. Он набрал

полную грудь воздуха.

— У вас нет никаких причин так говорить со мной, к тому же вы ведете себя как филистер, а ведь вы не филистер. Я уже объяснял вам, что такое йога с научной точки зрения. В ней нет *ничего* такого, что противоречило бы западной науке. Это просто культура отношения к позвоночнику, которая призвана восстановить изначальную гибкость мышечной системы и с помощью легких наполнить ее кислородом. Надо относиться к телу как к клавиатуре и мышца за мышцей возвращать его в наилучшее состояние, чтобы оно было гибким, как тело змеи или кошки, в идеале конечно. *Асаны* — это дыхательные коды. Они учат мышцы исполнять предназначенную им роль, и в конце концов движение превращается в некий духовный акт. Мышцы наполнены кислородом и готовы совершать почти духовные акты своими движениями.

— Вздор! — твердо произнес принц. — Сплошной вздор!

Аффад не сдержал возмущения. В конце концов, ему было неизвестно, в какой степени Констанс увлеклась уроками йоги — да это и не касалось его, тем более что уроки были полезными: он и сам когда-то прошел не один курс, и это не

принесло ему ничего, кроме пользы. Постоянно занимаясь два года, он избавился от болей в спине, периодически докучавших ему.

— Да, духовные акты! — продолжал он с горячностью. — Получив информацию, мышцы постоянно пребывают в состоянии готовности, пока не сдаются старческой немощи или болезни. Я полностью поддерживаю ее исследования, потому что это исследования. С философской точки зрения, это прогрессирующая космическая безнадежность. Энтропии этот процесс противостоять не в состоянии, и главное достижение медитации является n-мерным. Можете проверить на себе. В конце концов, ваши собственные сексуальные безрассудства навязаны вам вашим *идиотом,* домашним врачом! Вовлекать детей, собак и т. д. просто потому, что вы боитесь импотенции и не решаетесь говорить о ней даже с принцессой!

Это уж было совсем нечестно, и принц сжал кулаки, будто собираясь ударить Аффада в глаз. Набрав полную грудь воздуха, словно намереваясь произнести тираду или громко крикнуть, он не сделал ни того ни другого, но постоял так некоторое время, а потом недовольно фыркнул.

— Грубиян! — проговорил он, после чего сделал движение, как бы нанося Аффаду удар в живот. —

Все это неправда!

Аффад покачал головой.

— *Au contraire*,[23] даже немного позанимавшись йогой, вы бы избавились от сомнений и избежали бы компрометирующих неприятных ситуаций — я имею в виду для человека вашего положения!

Принц глубоко задумался и несколько раз кивнул головой.

— Это было ужасное время, — признался он, вспоминая, вне всяких сомнений, бордель в Авиньоне и организованную им «небольшую пирушку». От этого воспоминания у него по телу пробежала дрожь, словно ему стало холодно. Слава Богу, он во всем признался принцессе и с ее помощью восстановил душевное равновесие так же, как (к его удивлению и облегчению) мужскую силу. Теперь, едва он вспоминал о тех временах, его бил озноб, так как было очевидно, что принцесса могла бы покинуть его не из-за его сексуальных проделок, а из-за недоверия к ней как наперснице. Она дорожила своим положением жены и помощницы. Принц вздохнул. — Слава Богу, это позади.

---

[23] Примечания: 23
Напротив *(фр.)*.

Неожиданно ему расхотелось язвить, и он всерьез озаботился состоянием друга, которому надлежало предстать перед главным комитетом в Александрии, ожидавшим возвращения грешника. Исполнительную власть представляли три человека, которые анонимно выполняли возложенные на них обязанности, но так как они сменялись регулярно каждый год, то их имена невозможно было узнать. Поэтому принц, который хотел бы вмешаться в судьбу друга и использовать свое влияние, чтобы защитить его от грозившего ему возмездия за преступление — сказано без преувеличения — вынужден был бездействовать, не зная, есть ли у него добрый знакомый среди тех троих, к кому он мог бы обратиться… Для гностиков даже мысль об этом была бы аморальной и недопустимой, но недаром принц был человеком восточным и умел разрабатывать стратегии, подобные лабиринтам, добиваясь своих целей!

Надвигалась ночь, громыхал гром. Аффад перестал раскладывать пасьянс, и они с принцем, почти засыпая, поговорили на общие темы, прежде чем решили лечь спать, не дожидаясь вестей из аэропорта, поскольку ветер не утихал и дождь лил как из ведра.

Пошатываясь, словно сонные медведи, принц и Аффад добрались до своих кроватей, но в три часа ночи их разбудили, сообщив, что самолет будет готов к вылету через час и совершит посадку в Александрии — необычная уступка, объясняющаяся высоким положением принца и его связями, которые были, как всегда, задействованы.

В плохо освещенном самолете принц и Аффад почти все время дремали, пока их болтало над морем по пути в Египет, где им был предоставлен захудалый аэродром со слишком короткой полосой для любого самолета, кроме небольшого военного. Подскакивая и скрежеща, самолет завершил не самый приятный перелет. Приближался бледный мутный рассвет, когда присланный за принцем автомобиль обогнул последнюю защитную полосу и въехал в спящий город под негромкую перекличку клаксонов, которые словно умоляли посторониться груженых овощами и направлявшихся на базар верблюдов.

— Больше не произнесу ни слова — но хочу как можно скорее узнать, что вам скажут.

Аффад кивнул, едва улыбнувшись.

— Невозможно предвидеть приговор, потому что такого еще не было, такого отступничества. О Господи! Это же прецедент.

В голосе Аффада звучали слезы, он в самом деле чувствовал себя несчастным. Принц покинул его — дюжина слуг всю ночь ждала его на ступеньках городского дома. Они промокли, устали, но сохраняли собачью преданность. Сразу же распахнулась дверь, и багаж был внесен внутрь. Аффад поехал дальше. Его собственный, более скромный дом располагался в пальмовой роще, в стороне от проспекта. Сад при доме соседствовал с территорией музея, а из подвала тайный ход вел в подвальный этаж музея. Иногда после обеда Аффад проводил своих гостей через тайную дверь в темную сокровищницу, где было на что посмотреть (так как наверху места не хватало), правда, сначала надо было снять простыни. Да и сам музей казался интереснее в желтом свете свечи, поэтому хозяин обычно прихватывал с собой венецианские свечи. В своем собственном доме он, в отличие от принца, обходился небольшим количеством слуг — повар, дворецкий, преданный и нерадивый Сайд, вот и всё.

Как только ключ повернулся в замке, с кресла, в котором он провел бессонную ночь, поднялся Сайд и подошел к хозяину, протирая глаза, но радостно улыбаясь. Аффад ласково поздоровался с ним и, не двигаясь с места, стал снимать пальто.

После того как слуга унес его, Аффад с удовольствием обошел дом, в котором прожил много лет — большую часть в одиночестве, если не считать слуг. Часы негромко и мелодично отбили время, словно тоже приветствуя своего хозяина. Статуэтка Афины Паллады и чучело ворона стояли, как прежде, на полке над веерным окошком. Книги расположились по обеим сторонам камина в стиле Адама — великолепное сообщество друзей. Аффад приблизился, провел рукой по корешкам, словно определяя авторов и здороваясь с ними, а потом подошел к стеклянному ящику с танагрскими статуэтками.[24] Облизав палец, он тронул стекло, как будто хотел убедиться в том, что Сайд не забывал заботиться о статуэтках в его отсутствие. На самом деле он что-то искал. Пришел слуга и принес почту — несколько счетов за воду и электричество, несколько просьб о пожертвованиях больницам и приютам. Не то. Аффад знал, что его должны пригласить на беседу. Обычно такие приглашения подсовывали под дверь. Аффад спросил слугу, не было ли чего-нибудь подобного, и слуга сказал, что не было. Тогда он присел на минуту и выпил кофе, который был приготовлен,

[24] Примечания: 24
Древнегреческие терракотовые статуэтки.

пока он предавался размышлениям. Наконец, — в некотором замешательстве, поскольку не сомневался, что не допускающее неповиновения письмо обязательно будет ждать его, — Аффад, немного успокоившись, отправился в роскошную ванную комнату принимать ванну и полностью менять одежду. Возможно ли, чтобы его вопрос был отложен на некоторое время? С другой стороны, ему хотелось, чтобы все как можно скорее осталось позади.

Погода переменилась, неожиданно стало ясно и солнечно, хотя с моря все еще дул холодный ветер. Аффад тщательно оделся и, накинув легкий плащ, отправился не торопясь в клуб Мохаммеда Али, то и дело приветствуя знакомых или друзей, обрадованных его возвращением в Александрию, как они полагали, надолго. В клубе на доске объявлений он обнаружил послание, написанное незнакомым почерком на бумаге без фирменного знака. Послание было коротким: «Сегодня в полночь вы должны явиться на специальное заседание центрального комитета в похоронный театр музейной крипты». Вот и все.

Аффад знал, что под «похоронным театром» подразумевается дальняя часть музейной крипты, когда-то часть некрополя. Однако сменявшие

друг друга поколения перестраивали помещение согласно своим желаниям, пока оно со своей небольшой аркой, частью нефа и маленьким амфитеатром не стало служить нескольким целям. Теперь здесь была и часовня, и греческий театр, и лекционный зал, отлично подходящий для собраний общества, особенно когда намечались лекции или дискуссии по процедурным вопросам, молитвенные или протокольные собрания. Помещение обычно называли «Часовней крестоносцев» или «Коптским святилищем». Здесь же хранилось несколько аэролитов и каменных барабанов, вероятно, вавилонского происхождения — нечто вроде карты и всемирного календаря, стоящего на кольцах огромного свернувшегося змея. Аффаду было отлично известно это место! Именно здесь новички давали первые клятвы и сообщали о первых актах подчинения сообществу. Не было места более подходящего для сочетания всего того разнообразия, которое царило в городе с его культом синкретизма! И здесь ему придется отвечать за свое отступничество. Что ж, придется соблюсти форму и порядок, выслушать нарекания и принять то наказание или тот позор, на который его обрекут члены комитета. У него нет оправданий. Но он не мог не думать

и о том, какое наказание ему грозит.

Погруженный в мрачные раздумья, испытывая чувство вины, Аффад в одиночестве съел ланч в вытянутой в длину столовой «Юнион Клуба», где в это время не оказалось ни единого человека. Однако аппетита не было. После ланча он отправился обратно домой, решив отдохнуть, — и заснул глубоким сном, словно его вдруг подкосила усталость, вызванная путешествием. Уже совсем стемнело, когда он проснулся, разбуженный маленьким будильником, стоявшим на тумбочке возле кровати. Время еще было. Но Аффада уже начинало мучить нетерпение. Чья-то невидимая рука (Сайда не было видно) приготовила легкий ужин, какой он обычно заказывал, когда поздно задерживался в театре. К еде Аффад почти не притронулся, зато выпил целый бокал шампанского. Это его немного подбодрило. Потом он отыскал черное карнавальное домино, полагая, что оно больше всего подходит кающемуся грешнику. И правда, если бы у членов общества существовала особая форма, то она должна была быть именно такой, хотя носить его следовало небрежно, как накидку художника. Тем не менее, во время карнавала происходило самое главное ежегодное собрание членов общества с его важным *carni*

vale — прощанием с плотью, что было одинаково удобно и для манихейцев, и для христиан.

Точно за пять минут до назначенного срока Аффад пошел в туалет, из окна которого был виден музей, к этому времени опустевший. На лестнице, правда, горел свет, значит, три «следователя» уже ждали, когда он спустится к ним. Аффад предпочел собственный тайный ход. Стараясь не шуметь, он скользнул вниз в кухню и в кладовой бесшумно повернул ключ в двери. Не забыв прихватить электрический фонарик, он освещал им дорогу в полной темноте подземелья. С бьющимся сердцем Аффад одолел один переход, нечто вроде вестибюля, потом второй, из которого был виден свет и слышались голоса. Неужели еще рано?

Нет. Дверь была перекрыта каменным резным барабаном, и изнутри донесся голос, назвавший его по имени и спросивший, он ли это, на что Аффад ответил как было принято: «Никто другой». Он откатил камень в сторону и вошел в театр, где его уже ждали. Для него, как он сразу обратил внимание, было приготовлено место посередине помещения, под яркой, почти как театральный прожектор, лампой, тогда как следователи заняли три соседних каменных скамейки в главном

зале. Свет падал так, вернее его направили так, что Аффад мог видеть только руки следователей, лежавшие на каменных столиках перед ними. Сами следователи являли собой неясные тени с едва различимыми голосами. Аффад подался вперед, чтобы посмотреть, нет ли среди них знакомых или друзей. Напрасно старался.

Итак, Аффад осторожно вошел, откатив камень в сторону, и поклонился трем парам белых рук, после чего занял свое место и опустил голову, приняв виноватую позу и выразив почтение к следователям: не к рангу следователей, у которых не было официального ранга, так как они были выбраны волею случая, а к организации, которую они представляли, с ее похожей на улей структурой. Голос произнес нараспев:

— Себастьян Фома Пта Аффад-эффенди?

— Никто другой, — шепотом ответил Аффад.

Он ощутил, как к нему возвращается его александрийское «я», его египетское «я». Каждое имя словно снимало слой пелен и возвращало его в незащищенную юность. К горлу, словно тошнота, подступили годы одиночества и философских исканий, сотворивших его как личность, и невольное рыданье едва не вырвалось у него из груди. Аффад вглядывался в темные фигуры трех

следователей, но в неровном свете не мог увидеть ничего, кроме изменчивых очертаний их голов. Омерзительно белые руки лежали на каменных столиках, на которых мерцали небольшие египетские ножи, повернутые острием в его сторону. Невыразительными были голоса следователей, обращались ли они к нему или переговаривались между собой. Руки того, кто произнес его имя, стоило Аффаду приглядеться повнимательнее, показались ему знакомыми. Неужели Фарадж? Или Негид? Может быть, Каподистрия? Или Банубула? Невозможно было сказать наверняка, и Аффад перестал напрягать память.

— Вы знаете, зачем вы здесь?

— Да.

— Зачем?

Понимая всю тяжесть совершенного, как только может понять философ, Аффад со слезами в голосе ответил:

— Я должен ответить за свою не имеющую оправданий провинность. Я должен понести наказание, будь это предупреждение или исключение, или казнь — что бы вы ни решили, любое возмездие за совершенное мною неслыханное предательство — справедливо. Даже теперь я сам себе не могу это объяснить. Я *влюбился.*

Последнее слово упало, как каменная плита, закрывающая усыпальницу.

Один из следователей со свистом втянул в себя воздух, но Аффад не понял, кто это был и что это означало. Он упал на колени и вытянул перед собой руку, как попрошайка, пристающий к прохожим.

— Мне кажется, — сказал он, — что в мир посланы духи любви, которым, даже если их узнаешь, невозможно сопротивляться, *нельзя* сопротивляться, чтобы не предать самое природу. Вот так это случилось. Так я совершил измену, от которой теперь полностью отрекаюсь и отказываюсь.

Надолго воцарилось молчание. Потом первая пара рук, которой предстояло сказать свое слово, ударила в ладоши, и голос, принадлежавший им, заговорил неторопливо и печально:

— Вам известно не все. Однако вам отлично известно, что прочность цепи зависит от ее самого слабого звена. Вы решили оборвать цепь нашей общей деятельности, причинить вред духовному усилию, выраженному в наших стараниях понять *primal trauma*[25] человека, то есть смерть, — и все ради *женщины.* Это мы знаем. Однако в своем

---

[25] Примечания: 25
Главная травма *(лат.).*

письме вы просите разрешения покинуть наше сообщество, таким образом нанося вред всем нам, соединенным жертвенным самоубийством… это немыслимо и провоцирует кризис глубочайшей нерешительности, граничащей с отчаянием. А тем временем жребий пал на вас — вы следующий, вы были бы следующим из тех, кого наше братство решило принести в жертву. Ваша телеграмма с отречением пришла после того, как было отправлено ритуальное послание. Представляете, какое смятение, какую тревогу ваше поведение породило среди членов братства?

— Но я не получал никакого письма, — воскликнул несчастный Аффад. — Когда его отправили? Куда отправили?

— Его уже отослали, когда пришло ваше письмо, поэтому мы были в нерешительности и стали ждать. В послании нашего общества были подробности вашей близкой смерти, но все же мы давали вам время подготовиться… Его отправили в Женеву, потому что тогда вы были там и, как мы понимали, собирались там оставаться.

Вот это удар! Столько лет терпеливого ожидания, и вот он избран. Противоречивые чувства охватили Аффада, переполнили его душу, так что он одновременно был горд и печален, его

даже начало лихорадить от восторга, словно он сделал первый шаг в направлении приключения, которого так долго ждал. Правда, почти тотчас появились сомнения: а вдруг ему откажут из-за его отступничества? Глубочайшее уныние пришло на смену радостному подъему духа.

— Я прошу вас позволить мне пройти мой путь до конца. Я отрекаюсь от своего отступничества и хочу загладить свою вину жертвенным актом в соответствии с данным мною обетом.

В наступившей тишине Аффад слышал, как громко и неровно стучит его сердце. Неужели всего лишь из-за минутной слабости горькую чашу пронесут мимо? До чего же далеким показался ему образ его любви в эту минуту самоуничижения, подобострастного самопожертвования! Глядя на себя глазами Констанс, он понимал, до чего жалким показался бы ей, посмотри она на него теперь. Даже ему самому было удивительно, как из-под маски искушенности и внешней культуры появился изначальный гностик-манихей, родившийся из долгих размышлений, постов и духовных упражнений. Констанс устрашилась бы, увидев его едва не пресмыкающимся перед следователями, умоляющим вернуть ему его смерть! Ну и фантазии у людей — так она поду-

мала бы. Словно отмахнувшись от мухи, Аффад выбросил мысли о ней из головы, ведь теперь он действительно хотел умереть. Волна разочарования в человечестве и его образе жизни поднялась в нем и ввергла в безмерный пессимизм. Да и любовь тоже требовала, чтобы он отвернулся от реальности и спрятался в мимолетной страсти. Спать и просыпаться рядом с ней. Зачать ребенка — *ребенка!* Ну и ловушку он приготовил для себя. Все еще умоляюще протягивая руку, он хрипло кричал: «Я прошу! Я прошу!» Однако, как ни парадоксально, одновременно он просил Констанс простить и отпустить его, понять разрывающую его пополам религиозную дилемму. Тем временем голос заговорил:

— Нам троим, посланным сюда вершить правосудие, особенно обидно, потому что мы стали гностиками, благодаря вашим наставлениям!

Ничто не могло быть более жестоким! Под его влиянием люди стали гностиками, а теперь они его судьи — если это слово подходит. В любом случае, как думал Аффад, самое важное, чтобы его приняли обратно, а с письмом он разберется потом. Наверное, его послали дипломатической почтой в Красный Крест и оно застряло где-то между женевскими конторами.

Воцарилось долгое молчание — три темных тени как будто решили взять перерыв. В конце концов другой голос произнес:

— Мы должны обсудить сложившиеся обстоятельства и большинством голосов принять решение. Потребуются дополнительные консультации. Завтра днем вы сможете узнать о нашем решении. Его передаст вам принц Хамид. Теперь идите и ждите наше решение, которое не будет ни добрым, ни жестоким, а будет справедливым и разумным.

От неудобного положения у Аффада затекли ноги; он неловко поднялся и несколько неуклюже поклонился в знак благодарности. Три пары рук взметнулись вверх в прощальном жесте и опять упали на каменные столики. Аффад направился к двери и включил фонарик, чтобы осветить себе путь в темноте. За спиной он все еще слышал тихое бормотание — началось обсуждение его дела. Каков будет результат? Естественно, они должны принять его жертву, как это было давно решено, — в тот год, когда трое, а потом пятеро приятелей решительно присоединились к бесконечности, вооруженные лишь надеждой, скорее верой, в то, что их жертва повернет вспять волну распада и предложит надежду преследуемому

миру.

Аффад вернулся домой, в изнеможении поднялся по лестнице. Ему было очень плохо. Часы пробили три раза — поздно. Скоро рассвет. В спальне не слышалось ни звука… постель была разобрана. Аффад подумал, что вряд ли сможет заснуть. Или все же заснет, несмотря на неясное будущее? Действуя наверняка, он приготовил себе сильную дозу снотворного и с его помощью провалился во тьму, словно в яму; но тут его стали одолевать сны о Констанс, воспоминания об их любви, такой неожиданной, необыкновенной и нежной. Все, от чего он отказался, разговаривая с судьями, нахлынуло, как волна, и поглотило его. Аффад проснулся после одиннадцати. На его лице, на щеках были слезы; он сердито смыл их в душе, наслаждаясь свистящим потоком. Потом надел старую, из грубой материи *аба* вместо привычного шелкового халата и отправился вниз, в большой застекленный центральный зал, где яркий солнечный свет ласкал его небольшое, но изысканное собрание статуй и тропических растений, которые росли у дальней стены и в саду. Фонтан был включен — Аффаду всегда нравился шум воды внутри дома. В фонтане даже плавали разноцветные рыбки. Ароматические травы горе-

ли в нишах. Усевшись за недавно накрытый стол, Аффад налил себе кофе. Скоро позвонит принц и передаст ему вердикт трех, «исполнительной ячейки». Сидя в зале и прислушиваясь к шуму воды, Аффад обратился мыслями к далекому прошлому, когда в первый раз гностические идеи начали занимать его. Шаг за шагом, отрицание за отрицанием он возвращался в прошлое, пока не наткнулся на твердый покров греческой мысли — странное и оригинальное проявление человеческого духа. Она вобрала в себя, видоизменила и, возможно, даже предала наплывы эзотерического знания, которое, подобно тропическому фрукту, впитало в себя соки индийской мысли, китайской мысли, тибетской мысли. Он видел, как эти темные волны культуры хлынули в Персию, в Иран, в Египет, где они смешивались и обретали лингвистические формы, понятные жителям Ближнего Востока.

Греция с ее поклонением свету и непреклонным стремлением к логике и причинной обусловленности была ситом. Греческие философы один за другим перенимали представления о мире у других народов и перерабатывали их во славу собственной философской системы. Пифагор заимствовал представление о мире у китайцев,

Гераклит — у персов, Ксенофан и элеаты — у индусов, Эмпедокл — у египтян, Анаксагор — у израильтян. Наконец, в сокрушительной для разума попытке синтезировать все это, Платон постарался свести воедино, согласовать все чужеродные влияния, чтобы получить эллинское представление о мире, — духовное и социальное, научное и боговдохновенное…

Эти мысли и воспоминания до такой степени разволновали Аффада, что он встал и принялся шагать по залу, заложив руки за спину, оживляя в памяти тот ужас, в котором он пребывал, когда впервые сформулировал эти идеи под руководством старого философа Фараджа. Правда, еще до Платона были мудрый Мани и его ученик Бардесанес — они стали звеном между Востоком и Западом. Аффад хлопнул в ладоши и вновь ощутил волнение, похожее на то, когда его принимали в «пентаду» или «триаду»; в поэтическом смысле это были пять чувств и три отверстия. Собственно, в буддистской психологии это пять *скандх,* узелков понимания, хранилищ побуждений! Аффад отлично помнил, с каким чувством Фарадж произнес: «Сын мой, манихейский Князь Тьмы соединяет в себе пять демонов: дым (δαλμου), льва (огонь), орла (ветер),

рыбу (воду), тьму (δρακων). В Греции его пророк — Фересирдес…» Из соединения занятий, постов и медитаций появилось Нечто, которое все увеличивалось и увеличивалось, пока в конце концов незнакомый человек не постучал в дверь и не спросил, нельзя ли войти. Он был стар и одет подобно коптскому бродяге, но величествен с виду. И сказал всего лишь: «Сын мой, ты думал о смерти, первой травме человека?» Аффад кивнул, потому что и человек, и вопрос показались ему знакомыми, как если бы он уже век ждал их; и он предложил старику сесть. Вот так началось приключение — смерть как приключение!

На этот раз Аффада не могли лишить его прав. Он заслужил оправдание многими одинокими годами, когда знакомые не могли поверить ему и распускали о нем самые немыслимые слухи, чтобы объяснить его одиночество и отсутствие привязанностей, жизнь семинариста или монаха. Поговаривали, что втайне он гомосексуалист, импотент, заколдованный, или принял обет, чтобы попасть в рай! И все это только для того, чтобы объяснить, почему он держится в стороне от скандалов и случайных связей, хотя ведет насыщенную деловую жизнь и часто бывает в обществе. Итак, Аффад медленно обошел свои

владения, попрощавшись с каждой из любимых вещей по очереди, словно провел репетицию, желая посмотреть, насколько он к ним привязан и насколько болезненным будет расставание. Он все еще восхищался своими сокровищами — обсидиановой головой римского виночерпия, двумя пухлыми *путти*,[26] женским черепом, покрытым золотом, — из захоронения в пустыне. Увы, пуповина перерезана самым реальным образом. Больше он не принадлежит им. Его чувства стали острее, когда взгляд коснулся более обычных мелких вещиц. На туалетном столике ключ, который ему дала Лили, его первый игрушечный солдатик, гренадер без головы. В одном из ящиков было много такого, в чем не разобрался бы никто, кроме самого Аффада. Бальная книжка с карнавала с его именем на каждой странице, написанным рукой Лили. («Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще обнимал тебя».) Это правда, что одинокая жизнь иногда становилась непосильно тяжелой ношей, особенно по весне, когда первые сухие ветры из пустыни налетали на столицу; было очень трудно удержаться и не обнять девушку, не уложить ее в свою постель.

---

[26] Примечания: 26

Термин, появившийся в эпоху Возрождения и подразумевавший изображение обнаженных мальчиков, чаще всего крылатых.

Иногда, не в силах больше терпеть одиночество, он шел на темную набережную и смотрел, как луна встает над морем. В темноте слышались голоса влюбленных, которые перекликались, зовя Габи, Иоланду, Мари и Лауру. До чего же больно было их слышать!

Однажды вечером он чуть не прошел мимо девушки, которая не шевелясь глядела на море, но не устоял и спросил: «Вы одна, мадмуазель?» Она окинула его долгим взглядом, словно определяя его рост, и ответила мягко и просто: «К сожалению». Они не спеша прошлись по набережной, беседуя, как старые друзья, а когда вернулись обратно, он пригласил ее к себе, потому что не мог провести еще одну ночь в одиночестве. Девушка помедлила в нерешительности, но согласилась. Вместе они проделали путь до его дома. Когда она увидела роскошный особняк, то спросила: «Вы, верно, очень богаты?» Он ответил: «Я — банкир». Однако это оставило ее безразличной. Она была нежной, несколько пассивной, милой, не вульгарной, но и не красавицей. Сначала они беседовали на греческом языке, потом на французском. Ее звали Мелисса, так она сказала, и он привлек ее своей нежностью и неторопливостью.

Остальное случилось естественно, и Аффад

наслаждался безмерной роскошью не только любви, но и возможностью спать и дремать рядом с милой, сдержанной и немного печальной женщиной, которая была не *fille de joie*[27] в профессиональном смысле, а скорее гризеткой. Попрощались они согретые друг другом, но ни тот, ни другая не сделали попытки назначить еще одно свидание. Возможно, она думала, что это должен сделать он. Он же хотел выписать ей чек, потому что у него не было наличных денег, но она не взяла его. «Я живу со старым евреем, а он очень ревнивый и обыскивает мою сумочку. Получить деньги я не смогу до понедельника. Дайте мне лучше две или три из ваших сигар, он любит сигары. Я скажу, что украла их или купила». Ему этого показалось мало. «Мелисса, дайте мне ваш адрес, и я пришлю почтовый перевод». Но она и от этого отказалась. Когда они подходили к дому, то вовсю болтали и шутили. Аффад спросил, была ли она замужем, и Мелисса, рассмеявшись, сняла бумажное колечко с сигары, надела его на безымянный палец и подняла руку, поворачивая ее то в одну, то в другую сторону, словно кольцо было настоящее, с драгоценным камнем. «Ах, у моей

[27] Примечания: 27
Распутная девица *(фр.)*.

семьи совсем нет денег, и у меня нет приданого». Однако особой печали в ее голосе не было.

Утром, когда она ушла, унося с собой три сигары для любовника, Аффад обнаружил в ванной комнате рядом с раковиной, в которой она умывалась, бумажное колечко и, наверное, самое старое противозачаточное средство на свете — маточное кольцо, вырезанное из маленькой нежной губки и с оливковым маслом внутри. Теперь оно было вымыто и высушено, и, размышляя о нем, о его истории, которая уходила корнями в самые далекие закоулки мифического прошлого Средиземноморья, Аффад подержал его в руках и вместе с колечком положил в ящик туалетного столика, где лежали другие сувениры из юности. Теперь оно было среди вещей, с которыми Аффад прощался, и на одно мгновение он задумался о том, что сталось с девушкой, потому что после той единственной ночи они больше ни разу не встретились. Сейчас Аффаду казалось, что предметы в ящике как будто пришли к нему из захоронения каменного века, и все же в них было что-то, что причиняло боль.

Размышления Аффада прервал зазвонивший телефон. Аффад очнулся, словно вышел из состояния гипнотического транса, и пересек зал, чтобы

услышать голос принца на другом конце провода, — звучавший утешительно, но как будто скрывавший печаль. Принц сказал:

— Они только что позвонили мне и сообщили о результате расследования. Ваша просьба о восстановлении в членстве принята, и вам возвращены ваши права…

Он надолго замолчал, возможно, ожидая какой-нибудь реакции со стороны своего друга. Но Аффад замер с трубкой возле уха, впитывая новости и не произнося ни слова. Сейчас он походил на человека, который узнал, что на его лотерейный билет выпал большой выигрыш, и потерял дар речи, не в силах это уразуметь. В первый раз он по-настоящему осознал великую привлекательность смерти и тайное страстное влечение к ней, которое заставляет жить человеческие существа. Страх и страсть. В глубинах его памяти вдруг зазвучал голос Констанс (как она сказала однажды, когда они обсуждали это): «Не исключено, что у тебя настоящая шизофрения, хотя ты об этом и не знаешь!» Тогда Аффад рассмеялся, потому что ни о чем подобном и помыслить не мог в той реальности, которой тогда наслаждался!

— Чудесно, — едва слышно произнес он, стараясь сохранить великолепное ощущение полноты

чувств.

— Письмо уже было отправлено вам, — продолжал принц, — когда они получили ваше отречение, отсюда вся неразбериха. Теперь опять все встало на свои места.

— Но не было никакого письма.

— Наверно, оно ждет вас в Женеве. Полагаю, его послали с почтой Красного Креста — вам ведь отлично известны сегодняшние трудности. Сначала британцы со всюду сующим свой нос бригадиром Масклином, который решил заменить собой разведку, потом египетская полиция, убежденная в том, что мы представляем собой подрывное политическое движение… Приходится принимать множество предосторожностей. Однако письмо было написано, и были учтены все детали.

— Они рассказали вам о деталях? Например, сколько у меня осталось времени, где будет сыгран последний акт?

— Нет, ничего такого я не знаю. Наверно, это будет в Женеве, хотя мне неизвестно, когда. Я уже послал срочный запрос насчет письма. Скорее всего, оно ждет вас на столе в Женеве, но нам надо знать точно.

— Кто его написал? Кому все известно? Мне бы

хотелось знать, надо ли проститься тут со всеми и ехать в Женеву, или у меня еще есть несколько месяцев.

— Об этом вы узнаете только из письма.

— А нельзя спросить комитет?

— Дорогой Аффад, мне неизвестно, кто входит в комитет. Все, о чем я говорю вам, произнес незнакомый мне голос. Его хозяина я не знаю, как же мне расспрашивать его? Кого расспрашивать?

— Понимаю.

Было досадно совсем ничего не знать, словно, планируя долгое путешествие, не иметь возможности купить билеты.

— Я предвидел вашу реакцию, — сказал принц, — и ради вас позвонил Самсуну. Без особой уверенности он сказал, что несколько месяцев вы пробудете в Женеве. Вам ведь известно, подобные дела удобнее устраивать за границей. Я бы исходил из этого, пока мы не отыщем проклятое письмо и не узнаем все наверняка. Скажите Александрии «прощай», когда будете покидать ее!

Цитата из великого произведения приобретала сейчас в устах принца оттенок желчности, однако он был преисполнен грусти, имея в перспективе потерю незаменимого друга, а в таком состоянии

трудно оставаться тактичным.

— Да-да, — задумчиво произнес Аффад. — Вы правы. Я так и сделаю, когда придет время. Странное будет чувство! Ладно, увидимся позже.

Аффад положил трубку и отправился одеваться. Потом своим обычным неспешным шагом вышел на проспект, чтобы побывать на бирже и сначала возобновить старые знакомства, а потом изучить положение дел на рынке. Все были счастливы снова видеть его, и на какое-то время Аффад почти забыл о прощальном значении своего визита. Зато у его коллег как будто сложилось впечатление, что, проведя много лет за границей, Аффад вновь начнет вести жизнь одного из членов городского сообщества банкиров. В клубе он почитал газеты — те из них, которые еще продолжали свое существование после войны. Наверху шло собрание деловых людей, и Аффад неожиданно явился на него, присоединился к дискуссии и поздоровался с давними друзьями, которых не видел на бирже.

Тем же вечером, надев смокинг, он отправился на обед, который давал принц в «Оберж Блю», и там поддержал свою репутацию приятного и любезного члена общества, а так как он был еще и хорошим танцором, то и репутацию дамского

угодника. Пару раз он ловил на себе жадный, пронизывающе-любопытный взгляд принца, словно тот пытался оценить чувства друга, однако Аффад никогда не был склонен афишировать свои переживания, и по его внешнему виду вряд ли что-то можно было понять. Тем не менее, они перемолвились несколькими словами, и Аффад сказал:

— Завтра в последний раз навещу Лили. Могу я сказать ей, что в случае необходимости она должна в будущем обращаться к вам?

Укоризненный взгляд принца говорил о том, что подобный вопрос можно было бы и не задавать.

— Захочет ли она встретиться с вами?

— Не знаю. Но я попытаюсь.

Аффада заботило положение Лили. Однажды на приеме кто-то спросил его: «Кто эта девушка, с которой вы разговаривали? *Девушка со слезами в голосе?*» Эта фраза точно отражала мучительный надрыв, звучавший в ее голосе, своими переливами напоминавшем пение птички с ярким оперением. Что с ее душой, с разумом, а теперь и с телом, больше не волновало Лили — грезившую посреди пустыни в компании нещадно палившего летнего солнца. Аффад вздохнул, вспомнив о

пустыне. Она тоже существовала как абстракция, подобная идее смерти — пока жизнь в оазисе не превращала ее в грубую реальность. Но до чего же жуткие желания пробуждала в своих приверженцах пустыня! «Да, конечно же, мы встретимся», — мысленно проговорил Аффад. Он попрощался с хозяевами и отправился к морю глотнуть свежего вечернего воздуха. Море показалось ему одновременно грозным и игривым, шумно отзывавшимся на проказливые порывы ветра с островов. Оно билось о скалистый берег. Народу на набережной было совсем немного, разве что время от времени попадались компании, возвращавшиеся с вечеринок. Один раз он услышал вдалеке гитарные переборы. Музей со всеми своими сокровищами был погружен во тьму — удается ли статуям вздремнуть александрийскими ночами? В холле заботливый Сайд оставил свет. Аффад отправился в кухню и, налив себе чаю, понес его в спальню. Неплохо было бы почитать, но веки слипались, и Аффад, не желая упускать такое счастье, просто лежал в постели и пил чай, наблюдая за тенями на потолке и думая о Констанс. Интересно, что она теперь делает?

Скоро они дойдут до конца их общего пути, и дальше ей придется выбирать новую дорогу. Аф-

фаду было грустно, но к грусти примешивалось облегчение от исполненного долга. Незаметно Аффад соскользнул, словно по песчаной дюне, в безмятежный сон без сновидений.

На другой день, ближе к вечеру, он отправился в пустыню, специально выбрав прохладный час, чтобы пуститься в путь по узкому гудронированному шоссе, соединявшему две столицы, — Каир и Александрию. Жара спала. Небо было чистым, предвещавшим призрачную луну, которая осветит ему обратную дорогу. Неуверенность в том, что Лили поймет его, мучила Аффада весь день и вселяла все новые сомнения. Приближалась ночь — вечерняя роса ложилась ему на щеки, пока он ехал в открытом автомобиле мимо дюн в сторону далекого зеленого пятна, которое должно было превратиться в оазис. Скорее всего, он приедет до наступления темноты, когда большие ворота закроются — а может быть, и нет. Это не имеет значения, убеждал он себя, ведь нетрудно и постучать.

Постепенно монастырь со всей его на удивление варварской атмосферой — словно он находился где-то в степях Средней Азии — поднимался из песка. Кучка строений-ульев казалась неразделимой, одним огромным коричневатым

булыжником: пемза, гипс и Бог знает что еще цвета промазанных глиной прутьев. Легкий, хрупкий материал был отличной защитой от дневной жары и ночного холода, особенно зимой. Тут росли пальмовые рощи таинственно-иератического вида, молчаливо приветствовавшие приезжающих, милые и неуклюжие. Все же ворота оказались закрытыми, и Аффаду пришлось пару раз стукнуть тяжелым молотком и дернуть толстую веревку, привязанную к колоколу, прежде чем вдалеке послышались неясные голоса. Наконец монах открыл ворота и задал вопрос, на который Аффад ответил: «Янна», — и был допущен в сырую приемную, где стоял запах восковых свечей и благовоний.

Настоятель коптского монастыря когда-то был банкиром, однако уже много лет как удалился от мирской жизни ради жизни тихой и созерцательной; правда, железной рукой правил в подвластных ему владениях и позволял себе хвалиться результатами своего труда. Совершенно облысевший, он стал похож на толстого китайца с тяжелыми чертами лица, глубоко запрятанными, но все видящими и все подмечающими глазками, в которых всегда блестели смешинки. Аффад поздоровался с ним как с хорошим зна-

комым и сказал, что приехал, не предупредив заранее, так как ему надо поговорить с Лили. Мол, он собирается в долгое путешествие, поэтому хочет повидаться с ней перед отъездом и, к тому же, сообщить последние новости об их сыне… Янна стал возражать, вздыхая и с сомнением качая бронзовой головой, похожей на церковный купол. Он ответил:

— Уже давно никто не видел ее. Ей приносят еду, потом пустое блюдо, которое она ставит возле хижины, забирают, так что она жива, но больше нам ничего неизвестно. Однако она в плохом состоянии, в плохом психическом состоянии. Один раз она оставила мне послание: «Я начала видеть разные цвета ртом и слышать звуки глазами, все смешалось. Если я беру карандаш в руку, то буквы у меня получаются с Фут высотой. Мне надо уединиться и подлечить себя». — Они переглянулись, не зная, как лучше поступить. — Надо попытаться. В конце концов, самое плохое, что может быть — она откажет. Тогда поедете обратно, вот и все.

Он пересек комнату и подошел к стене, на которой висела большая картина в раме с изображением оазиса и легко различимых зданий, которые становились тем меньше, чем дальше оазис уходил в глубь пустыни, а потом здания

сменились кельями, хижинами из прутьев — жилищами людей, выбравших отшельническую жизнь. Видны были также укрытия для овец, на случай сильного ветра. Янна ткнул пальцем в одну из звездообразных хижин и сказал:

— Здесь! Я дам вам в сопровождающие монаха Хамида, он носит ей еду и покажет вам дорогу, однако, мой друг, если она не захочет разговаривать, не настаивайте, прошу вас!

Аффад ответил ему укоризненным взглядом:

— Ну, конечно же, нет, не стоило и говорить об этом!

— Прошу прощения. Действительно, не стоило. Прошу прощения.

Пришел старый монах, который был ночным сторожем в монастыре, и принес старую закопченную лампу и корзинку из прутьев с фруктами и миской риса. Поклонившись, он пробормотал что-то после того, как получил соответствующие указания, и, повернувшись, пошел между строениями, из которых не доносилось ни звука, потом через большую лимонную рощу, словно сторожевой пост расположившуюся у самой границы оазиса. Здесь начинались песчаные дюны, и тут и там виднелись, словно обрывки каймы, пальмы.

Идти по песку было нелегко, и Аффад не мог

не отметить с восхищением ту удивительную легкость, с которой двигался старик: он словно скользил по дюнам. Лампа с единственной свечкой, казалось, вот-вот погаснет, однако бледный рог месяца уже пробивался сквозь густой вечерний туман. Наконец они подошли к одной из самых дальних келий, за которой не было ничего — лишь море волнистого песка, простиравшееся до самого неба. В таком месте даже камень или хищная птица показались бы чужеродными, словно пятно на солнце. Аффада передернуло от доставившего ему удовольствие отвращения при мысли о жизни тут, о том, как это должно быть, — один на один со своими мыслями и *совсем ничего, чтобы отвлечься от них.* Старик крякнул и поставил лампу на землю рядом с деревянной дверью, после чего издал странный хриплый звук, словно подзывая домашнее животное, нечто вроде «Ха!» или «Хей!».

Некоторое время все было тихо, потом послышался шелест, словно метлой раскидывали сухие листья или шуршали бумагами, например старыми газетами. Это не было похоже на голос человека. Старик подошел к двери, приложил к ней ухо, потом отпрянул и хрипло произнес:

— Кое-кто пришел повидаться с вами.

В это время он сделал Аффаду знак, чтобы тот приблизился и таким же образом дал знать о себе. Но Аффад не мог собраться с мыслями, все слова вдруг вылетели из головы. Наконец он произнес:

— Лили! Отзовись! Это я.

Опять послышался шорох, дверь резко распахнулась, и на пороге появилась худая фигура в лохмотьях, закрывающая лицо от сумеречного света и что-то возбужденно бормотавшая, словно большая обезьяна. Аффад вновь выкрикнул ее имя, и бормотание стихло, зазвучал голос Лили — такой, каким он был прежде, потому что он как будто не был связан с ее телесной оболочкой и исходил из некоего музыкального инструмента:

— Иди прочь, старик!

И старик, захватив лампу, с почтительным смирением исчез в окружающей тьме. Теперь, действительно, света почти не было, да и Аффад забыл об электрическом фонарике, который всегда носил в кармане. Лили представлялась ему редкой птицей, которую легко спугнуть, и тогда она в страхе исчезнет. Как же она выглядит после стольких прошедших лет? Ему не хватало фантазии.

Словно прочитав его мысли, Лили неспешно произнесла:

— Интересно, как мы выглядим теперь?

Оба стояли, прислушиваясь к дыханию друг друга, словно настраивая свои антенны, если так можно выразиться. Потом Аффад сказал:

— У меня есть фонарик, если ты хочешь посмотреть.

На самом деле, ему самому хотелось посмотреть на нее, прочитать по ее глазам, в каком она состоянии. Они молчали.

— Включить?

Она молчала, стояла и молчала, так что он сунул руку в карман, намереваясь вынуть фонарик, который заодно служил брелком для ключей. Подняв фонарик над головой, словно шланг душа, он нажал на кнопку, и свет полился вниз, а сам он поднял голову. У нее как будто перехватило дыхание.

— Ты совсем не похож на себя. Совсем не похож.

Аффад огорчился и немного удивился, потому что она говорила словно о ком-то другом и с кем-то другим. Неожиданно у него появилось ощущение, будто он изображает кого-то, кого не только не знал, но и никогда не видел.

— Как вас зовут? — спросила Лили властно и твердо, отчего ему стало не по себе, ведь непри-

ятно, когда тебя уличают во лжи.

— Ты знаешь, — ответил он. — Ты должна знать, Лили!

Она разразилась слезами, но ненадолго; и вдруг как будто выключила слезы, тыльной стороной ладони вытерла глаза и после этого робко произнесла:

— Я забыла. Очень давно ни с кем не разговаривала, памяти не стало.

Взгляд, исполненный невыразимой печали, сменился взглядом жадного ожидания. Она взяла его за запястья и легонько потрясла их.

— Я должна вспомнить? — медленно проговорила она.

Он кивнул.

— Да, Лили, вспоминай.

Она склонила голову на грудь и погрузилась в свои мысли. Потом негромко фыркнула и произнесла:

— Это как будто гигантский кроссворд, только вместо слов звуки и цвета!

Аффаду стало ясно, что она говорит о реальности, и он ощутил свою беспомощность, отчего ему стало смертельно грустно.

— О Боже, ну почему ты не можешь вспомнить? Неужели ты не помнишь, как уронила корзинку

и все яйца разбились, — *все до одного?*

Лили изумленно вскрикнула, совсем по-юному, восторженно, и запрокинула голову, произнося не дававшееся ей слово:

— *Себастьян!* Наконец-то я вспомнила. Ах, милый! Не понимаю, как я могла забыть?

Теперь, в его объятиях, она расплакалась по-настоящему; ее хрупкость стала еще заметнее из-за напряжения, которое она ощутила, словно электрический ток пробежал по ней, подобно тому как ветер бежит по листве. Аффад нежно обнимал ее, испытывая жалость и яростное желание попросить у нее прощения за несовершенный мир, который отобрал у нее разум, но не лишил (в своей жестокости) способности *любить*! Он беззвучно застонал, хотя и знал, как это глупо. Человек всегда чувствует, что обязан вылечить весь мир. И его надо винить во всем, во всех грехах. Вероятно, подумалось ему, это все же своего рода ложная гордость.

Ему было ясно, что в данный момент всего важнее придать ей уверенности в себе, поэтому, стараясь не испугать ее, он сел на песок перед хижиной и убрал фонарик обратно в карман. Помедлив в нерешительности несколько мгновений, она тоже села. Вот так они сидели на

песке лицом к лицу, словно арабские дети. У нее несколько выправилось дыхание, перестали дрожать пальцы, и он решил, что может рассказать ей о приключениях, случившихся с ним после того, как они виделись в последний раз. Он ничего не пропустил, открываясь в своих чувствах к Констанс, и ее это тронуло, потому что она явно подавила рыдания и с жалостью коснулась двумя пальцами его запястья. Аффад сказал, что Констанс должна осмотреть их сына и, оценив его состояние как врач, решить, какое выбрать лечение, если оно требуется. Пока он это говорил, Лили качала головой из стороны в сторону, словно уже все решила и оставила всякую надежду на лучшее.

Потом он сказал:

— Я получил распоряжение насчет себя, тебе ведь известно, я давно его ждал — теперь кости брошены, хотя пока еще мне неизвестны подробности. Но это наверняка наше последнее свидание. Я должен поблагодарить тебя за все, за то, как ты была снисходительна к моим недостаткам. Не твоя вина, что все сложилось так, как сложилось.

О, Боже! Это была правда, но прозвучала она до ужаса прозаично, выраженная в словах; какого

черта он пустился в раскаяние? Разве это его вина? Лили словно бабочка, рожденная с одним крылышком, — если бы не это, она была бы самим совершенством. Неодолимое препятствие встало на их пути — или они сами изменились? Она могла бы долго сидеть вот так в темноте, одну жизнь, потом другую, глядя на дыру в пространстве от начала до конца времен. Мысленным взором он увидел ее будущее, которое она проведет во тьме, — словно она стояла на мостике парохода, а пароходом была ночь, медленно плывущая в абсолютной тьме к неведомой цели куда-то еще дальше в темноту.

— Что ж, — наконец смиренно произнесла она. — Тебе пора идти. Нам пора идти.

Она вздохнула, словно обремененная всемирной скорбью, и опять сочувственно умолкла, все еще касаясь пальцами его запястья. Прошло много времени, прежде он встрепенулся и встал на ноги. Они обнялись и долго не разнимали последнего в их жизни объятия. Потом поцеловались. Аффаду показалось, что он целует тряпичную куклу. Потом он ушел.

Обратно по пустыне измученный Аффад ехал в подавленном состоянии, радуясь лишь маленькому радио, сопровождавшему его печальные

размышления монотонными арабскими мелодиями, которые будут вечно разматывать витки в четверть тона на фоне лунной ночи. Фарами он потревожил жителей пустыни — кажется, зайцев? Они так быстро умчались во тьму, что он даже не понял, кого спугнул. Потом появился нагоняющий тоску хромированными страстями, алчностью и скукой город! Музыка, лившаяся из радиоприемника, подчеркивала удушающее однообразие города, которому не давали разрастись две наступающие на него пустыни! Хорошо бы побыстрее уехать. Неожиданно он выключил радио, позволив свистящей тишине пустыни заполнить салон автомобиля. Было уже поздно. Мучительные размышления истощили Аффада. Дом стоял темный, лишь в холле горел свет. Аффаду стало грустно и одиноко. Не раздеваясь он улегся на кровать и тотчас заснул. Разбудил его негромкий стук в дверь — Сайд принес утреннюю чашку чая. С удовольствием выпив чай, Аффад долго стоял под горячим душем, прежде чем спустился вниз, где его уже ждал завтрак, накрытый возле фонтана с перешептывающимися струями, в котором плавали кувшинки.

В десять часов зазвонил телефон, и несколько раздраженным тоном принц спросил, куда он,

черт подери, подевался, «потому что я пытался вчера вечером дозвониться до вас, но никто не отвечал». Аффад сказал, где он был, но его заинтриговала озабоченность в тоне принца, и он забеспокоился, когда тот сказал:

— Вчера я почти весь день звонил в Женеву — вы ведь представляете, как это трудно с нынешней связью, — хотел выяснить насчет письма. Оно было отправлено в вашу контору, а оттуда Кейд отнес его в больницу, решив, что вы у Обри, но вы к этому времени уже ушли. Теперь самое смешное: Обри отдал письмо Констанс, считая, что она уж наверняка встретится с вами, но вы не встретились, или она забыла о письме. Так или иначе, письмо как будто должно быть у нее, и я беспрерывно звонил ей в больницу, но мне удалось связаться только со Шварцем, который сообщил, что она взяла отпуск, так как ей необходимо было отдохнуть. О письме ему ничего неизвестно. Скорее всего, оно еще у нее.

Аффада удивил голос, каким говорил принц, потому что в нем звучал страх, никак не вязавшийся с довольно обычными, в сущности, обстоятельствами. В конце концов письмо существует, оно не пропало.

— У вас странный голос, — сказал Аффад.

— Возможно, — отозвался принц, — и я скажу вам, почему. Когда мне удалось дозвониться до Обри и он сообщил, что отдал письмо Констанс, то сообщил еще, будто она была очень расстроена и рассержена и хотела разорвать письмо на мелкие кусочки или сжечь его не читая. Понимаете, ей очень не нравится… ей не нравимся *мы* и не нравятся наши цели. Мне чертовски жаль, что он был столь несдержан. Но вы же понимаете, что если она что-нибудь натворит, поддавшись порыву, то не избежать недоразумения по отношению к центральному комитету. Его реакцию я не могу предвидеть, но вы опять окажетесь под обстрелом. — Аффад застонал и согласился. — Надо было прямо сказать Констанс, что любая попытка противостоять… ну, справедливости, в каком-то смысле исторической справедливости, поставит вас в очень неприятное положение… А теперь ее нигде нет, и нам неизвестно, сколько времени ее еще не будет. У Шварца я оставил для нее послание, но, боюсь, он человек рассеянный, как все психиатры. Однако больше я ничего не мог сделать.

— Спасибо в любом случае, — отозвался Аффад. — Пока я не вижу особых причин для волнений. Правда, если женщина решает вмешаться,

ничего хорошего не жди…

— Да уж, — согласился принц. — Меня всегда беспокоит, когда женщина вмешивается во что-нибудь. Начинается неразбериха. Во всяком случае, пока не стоит бояться. У вас есть какие-нибудь планы?

— Я еще ни с кем не попрощался в Каире, так что собираюсь туда на несколько дней. Вернусь в субботу.

Глава третья
Внутренние миры

Что до Констанс, то она наконец-то последовала совету Шварца и отправилась в маленький домик на озере, куда они обычно ездили отдохнуть на уик-энд. Домик стоял в затопленном саду немного выше эллинга, в котором находилось бесценное моторное судно Шварца, названное им «Фрейдом». Там же был маленький скиф, который они брали, когда им хотелось позагорать на озере или отправиться в местную гостиницу на ланч или обед. Это было восхитительное место, кстати, без телефона — что делало его еще более привлекательным, когда хотелось уединения и тишины. Идеальное место как для работы, так и для отдыха.

Однако в своем взбаламученном состоянии Констанс не могла думать об отдыхе, поэтому она сделала то, что делала обычно, то есть взяла с собой работу: историю болезни сына Аффада, которую завели в центральной больнице, проделав необходимые обследования; скучный документ отражал беспристрастный медицинский подход

к ребенку как к некоему «случаю». История лежала перед Констанс на столе из сосновых досок, на который поставила пишущую машинку и положила карандаши и записные книжки. Констанс долго избегала заглядывать в нее, потому что предвидела удручающую оценку человеческого несчастья и напыщенный стиль, который не мог скрыть почти полную несостоятельность ее науки. Тем не менее. Когда-то надо было начинать, надо было сделать над собой усилие и попытаться понять; поиск точных деталей — единственный *raison d'être*.[28] Она как будто слышала предостережение Шварца: «Все так, но метод, каким бы привлекательным он ни был, должен оставаться искусством и не превращаться в сухую теологию — своего рода предрассудок, существующий в ряде омертвелых университетов!»

Ладно. Ладно. *Детский симбиотический психоз с выраженными признаками аутизма.* Пока она читала, ребенок в матросской бескозырке с обжигающей отрешенностью смотрел на нее из медленно проезжающего мимо лимузина. Конечно же, она видела лицо Аффада в миниатюре.

---

[28] Примечания: 28
Смысл существования *(фр.)*.

«Записи о ребенке сделаны в больнице, где он провел под наблюдением три недели и где его обследовали по просьбе отца и бабушки. Мать ребенка, давно страдающая психическим заболеванием, имеет периодические ремиссии, во время которых способна осознавать свою ответственность и выражает нормальную, может быть, чересчур эмоциональную привязанность к семье. Однако во время ухудшений или стрессов она возвращается домой в Египет и на добровольной основе подвергается необходимому лечению. Детство мальчика было спокойным, нормальным вплоть до первого долгого исчезновения матери, когда ему шел шестой год. Тогда у него началась лихорадка, не поддававшаяся диагностированию, и ему пришлось провести в постели несколько месяцев, во время которых начали развиваться признаки аутизма. У него изменилось поведение, что встревожило родственников, и отец обратился за медицинской помощью. Больной был передан моим заботам, и далее последовал период интенсивного наблюдения, когда

мое общение с ребенком продолжалось по несколько часов в день. Бабушке было разрешено оставаться в больнице, хотя погруженный в апатию мальчик не выказывал ни удивления, ни страха».

Отчет был написан давней, еще со студенческих времен приятельницей Констанс, умным и опытным невропатологом, проницательной и доброй женщиной, у которой были свои дети; кстати, отчет был очень подробным, хотя, как всегда в таких случаях, состоял исключительно из предположений. Констанс опять послышался голос Шварца: «Несмотря на многословие, мы, черт подери, ничего не знаем о состоянии человека, когда он здоров и когда болен. Надо упорно работать». Упорно работать — правильно! Констанс заварила себе чай и вернулась к тщательно продуманному и очень подробному документу, заполненному ее приятельницей.

«Стандартные предварительные тесты не выявили патологии. По-видимому, в семье никто не болел люэсом и другими хроническими заболеваниями. Черепно-мозговая компьютерная томограмма зарегистрировала нормальные показа-

тели.

Вплоть до начала болезни, возможно, связанной с отсутствием матери, речевое развитие пациента было несколько замедленным, однако не настолько, чтобы вызвать озабоченность родителей, — некоторые дети медленно учатся говорить. Однако с началом болезни развивающийся аутизм стал настолько очевиден, что появились сомнения насчет слуха ребенка, который не реагировал на звуковые сигналы. Тем не менее, некоторые громкие звуки привлекали его внимание, он поворачивал голову, правда очень медленно, и в его взгляде ничего не отражалось, даже любопытство. Иногда он стоял, не шевелясь и сощурившись, словно прислушивался к чему-то внутри себя, хотя его реакции оставались невыразительными. С таким же безразличием он воспринимал ласки взрослых, и если к его лицу приближалось лицо человека, то он отворачивался или смотрел как бы сквозь него на некий воображаемый предмет, словно на что-то другое или на кого-то, кто ждал его где-

то вдалеке. Удивительная физическая красота ребенка могла бы предположить живое воображение, однако мальчик напоминает сломанный механизм. Так называемая «поломка» нарушила его нормальное развитие. При отсутствии визуального наблюдения и физического контакта, трудно с определенностью поставить диагноз. Лично я предполагаю или нарушение работы мозга, или аутизм, или последствия шока, или гиперкинетический синдром, поскольку, когда ребенок двигался, движения были почти атаксическими из-за потери координации, хотя всегда сильными и направленными на неодушевленный предмет, находившийся поблизости, в который он часто сначала вцеплялся зубами, а потом ронял, после чего опять замирал, безучастно глядя на стену или на дверь. Он ничего не рвал и не ломал, просто вцеплялся в какую-нибудь вещь зубами, а потом ронял ее.

Бабушка ребенка, с которой он жил, тоже производит несколько странное впечатление. Может быть, она и хотела

бы быть полезной, но, плохо владея французским и итальянским языками, не в силах сообщить ничего ценного, что могло бы помочь будущему лечащему врачу. Мальчика назвали Аффадом в честь отца, бизнесмена, который часто приезжает повидаться с ним, но по сути живет в Египте, не желая укореняться в Женеве. У старой дамы роскошный особняк возле озера, ее обслуживают несколько слуг, а еще у нее есть огромный лимузин для выездов и дорогое судно для прогулок по озеру, в которых ее всегда сопровождает внук тщательно одетый для такого случая в настоящем левантийском стиле. Прежде вся семья жила в Александрии, в Египте.

Вот в таких условиях ребенок проживает свою странную нежизнь, или жизнь абсолютного одиночества, несмотря на присутствие добрых слуг. В его необъятной детской полно игрушек, которых он не замечает, есть даже игрушечный рояль, барабан и ксилофон, обычно весьма привлекательные для детей. Естественно, в отсутствие матери и отца ему не хвата-

ет семейной атмосферы, однако многие дети, хоть и страдают в таких обстоятельствах, тем не менее не болеют. Возможно, это второстепенная причина, по крайней мере мне она не кажется главной. Его отец тоже ничего не может предложить; он производит впечатление человека избалованного и не от мира сего, однако он модно и даже элегантно одет. Первое впечатление некоторой вялости оказалось неправильным, ибо старший Аффад оказался общительным, правда, он совершенно ничего не знает о своем ребенке. В его анамнезе нет никаких отклонений, и он очень расстроен и озабочен некоммуникабельностью сына, из-за которой тот, по его выражению, нем, как мумия. Он живо откликнулся на предложение о нескольких визитах с целью попытаться проникнуть за маску безразличия, которую носит ребенок, или хотя бы прийти к определенному выводу о причинах его состояния. Три раза в неделю я проводила с мальчиком около часа, просто наблюдала за ним, каким бы пассивным он ни был. Иногда чисто вымытого и аккуратно

одетого его вывозят на прогулку по озеру. Ему нравится держать руку в воде, однако внешне он никак не выказывает своего удовольствия. Еще его катают в лимузине, который медленно едет вдоль озера в течение часа или около того. Мальчик смотрит на прохожих и на дома, но остается пассивным и ничего не говорит.

Он не отказывается от еды, но его до сих пор кормят, хотя он достаточно взрослый, чтобы есть самостоятельно; кроме того, у него нет предпочтений в выборе блюд. Во время еды он остается таким же безразличным. Спит он беспокойно, иногда стонет или хнычет во сне, время от времени сосет простыню — но это нормально, как если бы он сосал палец. Появляется искушение пойти по легкому пути и признать, что он испытал шок в результате исчезновения матери. Я бы сказала, что шок затронул некое глубинное беспокойство, уходящее корнями в более далекое прошлое и связанное, возможно, с проблемами сосания материнской груди, кормления. Подозреваю, что мать не желала кормить ребенка, так как ей это не

нравилось, что случается со многими матерями, или прервала кормление грудью, заменив его кормлением из бутылочки на слишком ранней стадии. Конечно же, это традиционный взгляд на проблему после Клейн,[29] однако удивительно, что ребенок в настоящее время не выказывает беспокойства по поводу еды и все его поведение никак не связано с проблемой принятия пищи».

На этом основное описание заканчивалось, и дальше следовали замечания, сделанные рукой Шварца, которые начинались так:

«Жаль, что этот предварительный материал, который не может нас удовлетворить, не был расширен из-за вынужденного возвращения врача в Канаду и невозможности в течение многих месяцев подобрать замену, так что пациент был предоставлен самому себе, но к данному моменту его состояние остается прежним. Описанные выше детали сохраняются в том же виде, и жизнь, кото-

[29] Примечания: 29
Психолог Мелани Клейн, автор книги «Детский психоанализ» (1932).

рую ведет ребенок, имеет прежний ритм. Считаю желательным сделать попытку глубже изучить состояние ребенка. Есть еще некоторое количество тестов, которые не были использованы, например, тест с домашним животным, скажем, с котенком. Трудно устоять, глядя на то, как котенок играет с клубком или пинг-понговым шариком. Еще труднее устоять перед заигрываниями щенка. Кроме того, неизвестно, какой результат, если результат будет, Дадут разные образы. Можно попытаться спроецировать их на стене в детской, чтобы посмотреть, как ребенок отреагирует на них. Можно попробовать музыку, когда он будет спать… Я назвал первое, что пришло мне в голову. Однако, полагаю, поскольку вы зашли настолько далеко, что пообещали вашему другу проконсультировать его сына, наверное, вам следует занять место его психиатра и продолжить исследование (я бы сказал, заглянуть снаружи внутрь) этого классического случая аутизма!»

На истории болезни стояли фамилия Констанс и номер ее почтового ящика. Констанс не по-

нимала, что надо сделать такого, чего не было сделано ее более опытной коллегой.

С озера налетел ветер и захлопнул ставни; пришлось Констанс встать, чтобы вновь открыть их и проверить, прочно ли стоит скиф, после чего она принялась готовить скромный обед в уютной кухне с деревянными стенами и видом на озеро. Моралист внутри нее с некоторым неодобрением отнесся к ее пылкому желанию прийти на помощь ребенку, потому что с этим желанием не все было чисто и объективно. В конце концов, это сын Аффада… ну, и что делать? Не лучше ли оставить больного мальчика другому врачу, а самой заняться более интересными случаями? Почему бы и нет? «Ты все еще не справилась со своей болью», — сказала она себе, и от этой мысли ее захлестнула волна ненависти — волна ненависти к Аффаду и к жуткой игре в «кошки-мышки», в которую он играл с ней. Будь он проклят! Будь проклято собрание унылых поклонников смерти с их инфантильным желанием умереть, возникшим в разрушенном Египте. «Я-то думала, что немцы инфантильны, а средиземноморские народы старше и мудрее… ну и дура! До чего же можно быть наивной!»

Однако все это самоедство никак не помогало

Констанс ответить на вопрос о ее будущей роли в жизни ребенка. Надо поспать, а утром она решит, брать ей на себя мальчика или передать его другому психиатру. Констанс сразу вспомнились несколько умелых и преданных делу врачей, которые ни в чем ей не уступали и были бы рады завершить портрет ребенка-робота. Однако думать об этом было неприятно, и она плохо спала, со жгучей грустью глядя на Аффада во сне.

Утром, когда Констанс проснулась, она сразу же вспомнила, как ее коллега написала об Аффаде, что «он производит впечатление человека избалованного и не от мира сего». Это вызвало у нее досаду, хотя она прекрасно понимала абсолютную иррациональность такой реакции. Зато своей новой внешностью она осталась довольна, и это было частью ее попытки оправдать себя в собственных глазах, восстать как феникс из пепла разрушительной и неплодотворной привязанности. Констанс купила шубку и еще кое-что из зимней одежды, поменяла духи и позволила парикмахеру изменить себе прическу, по-новому уложить волосы. Ей сразу стало гораздо легче — однако рядом не было никого, кто мог бы оценить ее усилия и восхититься ею! «Так тебе и надо», — мстительно произнесла она вслед удаляющейся

тени «человека избалованного и не от мира сего». Однако не устояла и заскочила в больницу, чтобы насладиться одобрением коллеги. «Боже мой! Ты помолодела на десять лет и как будто опять влюблена — мне бы хотелось, чтобы *это* было правдой!»

В каком-то смысле, так оно и было. Однако вопрос об отпуске по болезни был решен, когда из-под боевой раскраски снова проступила кошмаром никуда не девшаяся усталость. Шварц обратил внимание на историю болезни у Констанс под мышкой и одобрительно кивнул. Тем временем они уже назначили Мнемидису успокоительные таблетки, желая посмотреть, насколько он изменится, если как следует отдохнет. Констанс уже почти не переживала из-за того, что бросает Мнемидиса на Шварца, который, к сожалению, не мог с ним управиться; но все же ей стало обидно, что она будет отсутствовать, так как этот пациент очень интересовал ее. Шварц понял это и сказал:

— Не расстраивайся из-за Мнемидиса. Сейчас у него благостный период, и он набрал столько книг, сколько смог унести. Когда в следующий раз устроит водевиль, то, полагаю, позаимствует что-нибудь из Библии. *Aber*, ну и чудак!

Тишину в маленьком домике нарушал лишь плеск волн, бившихся о деревянную пристань. Вставало солнце, и Констанс уносила книги и бумаги на лужайку с аккуратно скошенной травой. Лужайкой занимался приходящий садовник, который оставался невидимым все дни недели, кроме понедельника. Констанс спала, просыпалась, опять спала. Питалась замороженными продуктами и только теперь, когда оздоровительная сиеста затягивалась до ночи, стала осознавать, до чего измучилась. Ей казалось, что она накопила в себе вселенскую усталость и никогда не избавится от нее. Но на второй день стало как будто полегче, а на третий она проснулась рано утром и сразу же бросилась в озеро — испытав шок, словно ударилась о ледяное зеркало. Растирая себя полотенцем, пока кожа не стала розовой и теплой, она стонала от мучительной радости. Потом отправилась в уютную кухню завтракать. Отдых сыграл свою роль. Ей стало более или менее ясно, как она будет заниматься с ребенком. Еще в халате, Констанс выпила кофе и быстро пробежала глазами не удовлетворявшую ее историю болезни, после чего села в автомобиль и отправилась в ближайшую деревню, где была почта, откуда позвонила в большой дом на

берегу озера. К телефону подошла служанка, но вскоре Констанс услыхала низкий, тревожный голос старой дамы. Однако стоило ей назваться, как старая дама произнесла с облегчением: «Уф!» — а потом сказала: «Мы уже давно ждем вас. Я подумала, что вы, верно, забыли…» Констанс выразила подходящее случаю удивление: *«Забыла?* Как можно?»

Они договорились встретиться в тот же день за чаем, Констанс вовремя припарковала автомобиль возле сторожки, буквально нависшей над озером, и ей не пришлось звонить в звонок, потому что старая дама уже вышла в сад и поджидала ее за решеткой. Она помахала белым носовым платком, словно подавая тайный сигнал сообщнице, и едва ли не на цыпочках приблизилась к воротам.

— Я так рада, что вы приехали! — проговорила она неестественным, одышливым голосом. При этом она странно вращала глазами, и это придавало ее словам какую-то подавляемую страстность. В них звучала настойчивость и одновременно замешательство. Очень по-французски.

Но когда они обменялись рукопожатием и оглядели друг друга с головы до ног, то испытали облегчение, расслабились, избавившись от

владевшего ими обеими страха. Старая женщина вдруг посерьезнела и, отступив немного, как будто взяла себя в руки, чтобы изменить выражение лица, придав ему суровость и неумолимость, она как будто призвала себя к порядку, прежде позволив себе немного вольности.

— Что вы собираетесь делать? — хрипло спросила она.

— Для начала собираюсь завоевать *ваше* доверие и понаблюдать за мальчиком, — кивнув, ответила Констанс.

— Мы как раз думали поехать на прогулку — в автомобиле. Может быть, вы не откажетесь поехать с нами?

Это была отличная возможность сразу же заняться делом, и Констанс, не раздумывая, приняла приглашение, после чего последовала за старой дамой к гаражу через сад, в котором росли пряные травы и находился миниатюрный лабиринт. Там их уже ждал черный лимузин с сидевшим за рулем шофером в крагах и шлеме. Он нажал на нужную кнопку и открыл двери гаража.

— Няня сейчас приведет Аффада, — пояснила старая дама, позволяя немолодому шоферу подать ей темное теплое пальто. — Она не заставит

нас ждать.

Она и не заставила, вскоре появившись и стараясь, чтобы мальчик самостоятельно шагал по мраморным ступенькам, однако он делал это до того медленно, что она подхватила его на руки и с приятной улыбкой направилась к гаражу. В свежей и довольно миловидной швейцарке Констанс сразу узнала няню с дипломом, в точности исполняющую указания врача, более того, эта девушка всем своим видом выражала искреннее желание помочь ребенку. Они обменялись понимающими улыбками, как две заговорщицы, и Констанс, наклонившись, поцеловала безразличное личико мальчика, который не проявил ни малейшего интереса ни к ним, ни к предстоящей прогулке, настолько привычными для него были ничем не отличающиеся друг от друга поездки по набережной вокруг озера. Мальчик сел рядом со старой дамой, выпрямился и положил ладонь ей на руку; Констанс и няня торопливо заняли места напротив. Шофер, отделенный от пассажиров стеклом, проверил переговорную трубку и, убедившись, что она работает, включил, но довольно тихо, радиоприемник. Они двинулись в путь под неясные звуки штраусовского вальса, бесплотные звуки, которые как будто не доходили до

ребенка, смотревшего на мир без любопытства и без волнения. Выражение на его темном личике было как у великого утомленного представителя человечества, совершающего обычную поездку по знакомой стране, то есть привычный ритуал. Отрешенный, как Будда, он смотрел на чуждый ему мир со своего места в независимо существующей реальности. Ни о какой беседе никто и не помышлял. Констанс осторожно наблюдала за мальчиком, глядя в зеркало, однако это ничего ей не дало, не навело ни на какие мысли. Надо было побеседовать с няней; об этом она договорилась sotto voce,[30] предложив девушке встретиться в городе, где они могли бы свободно обменяться мнениями. От старой дамы, как Констанс уже поняла, она вряд ли могла получить полезную информацию, разве что та выразила бы свое беспокойство, а какой от этого толк? С другой стороны, Констанс не хотела создавать впечатление, будто действует у нее за спиной, если так можно выразиться. Поэтому она объявила о своем намерении побеседовать с няней, обсудить с ней кое-какие детали, и на свое удивление сразу же получила согласие, так что уже на другой день

---

[30] Примечания: 30
Шепотом, потихоньку *(итал.)*.

поджидала ее в кафе «Ренон» за чашкой кофе.

Девушка была знакома с историей болезни и, естественно, уже знала Шварца как психиатра.

— Можно я скажу вам, что думаю? — спросила Констанс, заметив, что ее собеседница в замешательстве, но не намерена говорить ничего определенного.

— Да, пожалуйста!

— Мне не очень по душе идея насчет котят и шумных игрушек, — сказала Констанс. — Дело ведь не в моторной реакции, а в реакции на более глубоком уровне, которая идет исключительно изнутри. Как этого добиться?

Девушка явно почувствовала облегчение, у нее совершенно переменилось выражение лица, и она с удовольствием хлопнула в ладоши.

— Вот *и я в точности* так же думаю! Не надо никаких умных ухищрений. Я рада, что мы думаем одинаково. Надо действовать более искусно, чтобы разбудить его. До чего же я *рада.* Теперь я знаю, что мы сработаемся.

Для Констанс было великим облегчением найти понятливую и активную помощницу, она очень боялась ревности и некомпетентности няни, но, к счастью, ее страхи не оправдались. Теперь у нее появилась возможность организо-

вать свою работу, а также составить длинный и подробный список вопросов для выяснения того, как ребенок реагирует на сон, на еду, на горячую ванну, на массаж и так далее. Правда, это ничего не прояснило, потому что мальчик не выказывал ни предпочтений, ни неприязни. Его попросту не было в раковине, его тело было лишь упаковкой, довеском. Тем не менее, своим сложением, вытянутой формой головы, разрезом глаз, он до боли в сердце напоминал Констанс своего отца, вот только в глазах мальчика не было признаков жизни, а в глазах Аффада-старшего были и боль, и хитрость, и любопытство. Она не могла не сравнивать отца и сына, когда помогала няне раздевать ребенка, а потом опускать его в теплую ванну, в которой он лежал неподвижно, замерев, словно маленькая лягушка, возможно, прислушиваясь к чему-то — потому что нельзя было сказать наверняка, что он думает или чувствует. Иногда на Констанс накатывали приступы отчаяния. И, тем не менее, новый пациент, новый объект ее внимания, придавал ей энергии и энтузиазма, и она с удовольствием трижды в неделю одолевала за рулем, сорок или около того километров, чтобы сыграть новую для себя роль помощницы няни.

Первые две недели она лишь помогала няне исполнять ее обязанности. Иногда мальчик поднимал глаза, когда она входила в комнату, но в его взгляде не было любопытства, вообще ничего не было, и Констанс подолгу сидела рядом с ним, стараясь дышать в одном ритме с ним и мысленно воздействовать на него. Время от времени, но на очень короткий период, он позволял какой-нибудь мысли пробиться сквозь мрак, в который был погружен, а то неуклюже поднимался и проделывал несколько шагов, обыкновенно после этого падая на пол. Еще он мог взять игрушку и долго смотреть на нее невидящим взглядом, после чего поднести ко рту, укусить и бросить, вновь уставившись на стену. Очень осторожно, пользуясь профессиональными уловками, Констанс старалась установить телесный контакт с ребенком, то неожиданно обнимая его, то похлопывая по плечу; помимо этого, она постаралась придумать некоторое количество привычных действий, которые, так сказать, демонстрировала ему, например, пила молоко из пластиковой кружки, расчесывала волосы и так далее. Таким образом она надеялась понемногу приучить его к некоторым деталям окружающей жизни и разрушить психическую изоляцию — в конце концов,

он ведь не спал, он бодрствовал. Просто он был не совсем живым, вот и все. Следовало найти кнопку выключателя. Но это требовало максимальной осторожности, никаких торопливых и необдуманных действий. Важно было дать ему понять, что никого не беспокоит его состояние и все любят его таким, какой он есть, — нельзя было ничего от него требовать! Бесконечное терпение Констанс в конце концов дало плоды, так как почти через два месяца появились первые признаки того, что контакт установлен, но к этому времени она увеличила список своих действий — позволяла себе негромко петь, свистеть, гладить мальчика, пересаживать с места на место, поднимать, подолгу молча, но обнимая за плечи, сидеть рядом с ним, иногда напевать и даже дуть ему в Щеку. Не было никаких сомнений в том, что ребенок осознавал ее присутствие, иногда он даже улыбался и подставлял щеку, чтобы она тихонько подула на нее. Временами он, закрыв глаза, лежал в ее объятиях с загадочным выражением радости на лице, особенно если звучала музыка.

И вот однажды он чудесным образом разрыдался, благотворные слезы ручьями текли у него по щекам; однако Констанс не поняла механизм

столь очевидного победного выхода из обычного состояния отрешенности и безразличия. Но что случилось, то случилось, к тому же в самое неподходящее время. Констанс уже стояла одетая, чтобы ехать в город на прием по случаю вручения Шварцу, почетному гостю Международной ассоциации психологов, почетной премии и серебряной медали за вклад в психоанализ. Однако швейцарская няня по какой-то причине опаздывала, и Констанс согласилась посидеть с Аффадом дольше обычного.

Дело было не в новом костюме, который мог бы повлиять на мальчика, — он не обратил на него внимания, хотя едва заметно улыбнулся Констанс, показывая, что рад ее приходу, и даже позволил приласкать себя и взять на руки, не проявляя недовольства. Потом, сидя у нее на коленях, он откинулся назад, показывая, что устал, принялся зевать и тереть глазки. Рукой он случайно коснулся ее волос и вдруг, растопырив пальчики, с очевидной агрессивностью приблизил их к ее лицу, как бы собираясь ткнуть ими ей в глаза. Однако агрессия как пришла, так и ушла. Правда, прежде в его поведении ничего подобного не замечалась. Ребенок захныкал, словно прося, чтобы его отпустили, стал зевать и

даже вырываться, но Констанс крепко держала его, желая, чтобы он яснее проявил себя, развил и зафиксировал выказанное им, но довольно неопределенное чувство. Взгляд у него стал яснее, он точнее и очевиднее фокусировал его, выражая испуг, — нет, это слишком сильно сказано — скорее, удивление. С гораздо большим, чем обычно, вниманием Аффад прислушивался к словам и песенкам; он как будто раскачивался, пытаясь сохранить равновесие, потому что соскользнул в незнакомое пространство, где прежде не бывал. Издав слабый стон, он широко открыл рот, но из его горла послышался лишь хрипловатый звук. Вроде сдавленного зевка, который не удался. И тут вдруг — целая Ниагара чувств — вдруг он разрыдался, да еще разрыдался с такой силой и страстью, словно его детская психика взорвалась как бомба и разрушилась. Констанс крепко прижимала мальчика к себе, словно стараясь удержать осколки, покачивала его из стороны в сторону и чуть не плача лепетала его имя, имя своего отсутствующего любовника: «Аффад… Аффад!» Таким образом она от всей души приветствовала его чудесный шаг в сторону нормы. У нее на глазах тоже выступили слезы, однако ей было важно сохранять невозмутимость в сто-

рожевой башне своего сознания, чтобы точнее оценить значение происходящего и таящиеся в нем возможности.

А мальчик тем временем рыдал и кричал изо всех сил, как будто хотел одним махом избавиться от всех демонов, так долго не дававших ему воли, и, не переставая рыдать, опять впал в буйство, стал биться, вырываться и скрежетать зубами. Яростные приступы гнева сменились почти нечеловеческим отчаянием; казалось, его вот-вот разнесет на миллион осколков, которые развеются по свету и исчезнут навсегда. Лишь ласковые крепкие объятия Констанс давали его психике шанс усмирить печаль и с нею взрыв аффекта, вырвавшийся из самых глубин детской души. Ничего подобного Констанс еще не видела за все время своей профессиональной карьеры, хотя в долгих и откровенных беседах, которых не избежать в ее работе, слезы были довольно частым явлением. В бессловесном разряжении[31] ребенка было слишком много ярости и отчаяния. А маленький Аффад все плакал и плакал, пока не лишился голоса и сил.

Констанс поставила мальчика на пол, и тотчас

---

[31] Примечания: 31
Психиатрический термин.

рыдания прекратились, словно закрыли кран, и ослабевший ребенок вновь вернулся к прежней отрешенности и созерцанию стены, правда, теперь он был без сил, и, когда Констанс взяла его на руки, он во второй раз расплакался, как будто его переполняло отчаяние из-за давно полученной раны, глубину которой Констанс пока не могла оценить. Не спуская мальчика с рук, хотя ей было тяжело его держать, она понесла его в роскошную ванную комнату и пустила теплую воду, чтобы сделать успокаивающую ванну. Лежа на кровати и все еще бесшумно плача, он позволил себя раздеть, и хотя он совсем обессилел и закрыл глаза, казалось, будто он отчаянно вопит, отчего его лицо напоминало греческую трагическую маску, разве что уменьшенного размера. В воде ребенок лежал совершенно неподвижно, как мертвый; и Констанс вновь начала тихо напевать, легонько поворачивая его то на один, то на другой бок.

Потом Констанс закутала маленького Аффада в огромное, приятно пахнувшее банное полотенце и посыпала тальком, прежде чем уложить спать в тихой спальне с верным ночником — крошечной елочкой с электрическими фонариками. Наконец мальчик отдал себя во власть сна, уступил ему, отдался ему полностью. Некоторое время, правда,

он поворочался, почти как прежде, но потом улегся на бок и, как корабль, погружающийся в волну, погрузился в сон. Однако он сделал то, чего никогда не делал прежде, — засунул большой палец в рот. Этот жест, как известно предполагает возврат к тому времени, когда случился психический шок, — так человек трогает шрам, вспоминая старую рану. Пока Констанс сидела рядом с кроватью и смотрела на спокойно спящего мальчика, у нее крепли надежды на его возвращение к нормальной жизни. Но она помрачнела, вспомнив о старшем Аффаде, представив себе его радость и, возможно, благодарность. Неужели ею все-таки руководила личная заинтересованность? Неужели поэтому?... Констанс резко махнула головой, отгоняя непрошеные мысли, и посмотрела на часы. Оставалось еще полчаса до прихода швейцарской няни. Мальчик спал спокойно, и, вероятно, можно было на цыпочках выйти из комнаты, но Констанс решила не рисковать на случай, если в его поведении появится что-то новое и важное, чего нельзя пропустить. Она пересекла комнату и, подойдя к столу, где лежал ежедневник, сделала короткую запись, которую решила развить в истории болезни, сначала наговорив на диктофон и потом отдав

запись машинистке. Время пробежало быстро, и когда няня на цыпочках вошла в спальню, Констанс уже поставила точку и была готова одеться и уйти. Одеваясь, она рассказала няне о том, что произошло днем и вечером, и девушка очень обрадовалась добрым новостям.

— Возможно, это начало радикального сдвига, — проговорила Констанс. — Однако нам надо набраться терпения и не торопить события.

Тем не менее, сама Констанс была настроена радостно и оптимистично. Полностью погрузившись в свои мысли, она управляла автомобилем на редкость плохо, особенно когда ехала по городу и парковалась. Однако опоздала она ненамного, и ей было приятно видеть, какое облегчение испытал Шварц при ее появлении, кстати, не менее приятно, пришлось ей признаться самой себе, было видеть очевидное восхищение коллег. Новая прическа произвела впечатление — и это тоже оказалось приятно. Стоило ей перехватить Шварца, как она взволнованно поведала ему о случившемся. Он удивленно, но с удовольствием присвистнул.

— Вот это прорыв! Может быть, твой первоначальный диагноз правильный, и это *histoire*

de biberon![32] Большая удача, если он сможет еще раз пройти по тому же пути, как электрик, который ищет, где оборвался провод… Ты счастливица, Констанс! Мне не пришлось наблюдать такие мощные очистительные перемены, черт меня подери! Однако важнее всего сейчас, чтобы мальчик опять не замкнулся — надеюсь, он не остановится, пока полностью не изживет травму. Если это случится завтра, когда угодно, *пожалуйста,* позвони мне. Я хочу быть в курсе.

К своему удивлению, да и некоторому разочарованию, Констанс сама чуть не расплакалась, однако ей удалось сдержать слезы, правда, пришлось высморкаться. Плохая реклама для уверенного в себе ученого, с горечью сказала себе Констанс.

Шварц сделал круг по залу и опять приблизился к Констанс, держа в руке неизменный стакан с виски.

— Кстати, — проговорил он, — я совсем забыл. Мне стало трудно прикрывать тебя, бесконечные телефонные звонки — нет, это не Аффад, это принц постоянно спрашивает, где ты и скоро ли вернешься. Я сказал, что у тебя по меньшей мере

---

[32] Примечания: 32
Здесь: младенческая травма *(фр.).*

двухмесячный отпуск по болезни и ты уехала из Швейцарии. Правильно?

Констанс стало обидно, что звонил не Аффад, но она быстро справилась со своими чувствами.

— Конечно. Я никому ничего не должна. Я ведь свободна, правда?

— Они там беспокоятся насчет письма, посланного Аффаду на адрес Красного Креста и полученного тобой. Не знаю, что это может означать, но голос у принца был весьма озабоченный. Он спрашивал, не уничтожила ли ты письмо, не распечатала ли его и, вообще, что ты с ним сделала. Что мне отвечать?

Констанс почувствовала, что краснеет. У Шварца было любопытство в глазах, хотя насчет Аффада она не очень с ним откровенничала.

— Если принц позвонит, пожалуйста, передайте ему самый теплый привет и скажите, что письмо, которое он ищет, попало в руки глупого слуги Обри Блэнфорда и я взяла его, рассчитывая увидеть Аффада до его отъезда. Однако мы не встретились, и письмо осталось у меня. Оно ждет его, если только он не хочет, чтобы я переслала его в Египет. Но ведь он сам говорил, что скоро вернется, так что я спрятала его в надежном месте до его приезда и…

Вдруг Констанс почувствовала, как у нее в жилах стынет кровь, и поднесла руку к щеке.

— Старик очень беспокоится, — проговорил Шварц. — Он боится, что ты уничтожила его с досады или распечатала, и, не дай Бог, теперь тебе известно его содержание… Что это такое, черт его подери? Любовное послание? — Он умолк, обратив внимание на ее испуганное лицо. — Констанс! — вскрикнул он.

— Вы сказали, что Мнемидис смотрел книги у меня на полке? — спросила она.

Шварц развел руками с выражением удивления и покорности на лице.

— Ты же дала ему разрешение пользоваться книгами, или нет?

Констанс кивнула, так как и впрямь говорила, что он может взять любую книгу, хотя на ее собственных полках стояли в основном учебники, словари и справочники. На самом деле она имела в виду совсем неплохую больничную библиотеку, в которой было много романов и другой неспециальной литературы.

— Я *говорил* тебе, что он забрал много твоих книг, — явно сердясь, сказал Шварц, — но он получил от тебя разрешение.

Констанс кивнула. Она забыла о каком бы то

ни было разговоре на эту тему.

— Библия, — произнесла она. — *Библия!* Письмо Аффада я положила в Библию!

Она сильно побледнела, и Шварц испугался.

— Ну и что? Ты можешь хоть сейчас взять его у Мнемидиса. Не *съел* же он его, в конце концов!

Оставалось только надеяться на лучшее; в то же время ее привела в ярость мысль, что весь сыр-бор разгорелся из-за какого-то письма — хотя, конечно же, ей было известно (пусть даже она не верила в это), что именно заключалось в письме. Час смерти — неужели так важно это знать?

— Позвони в клинику, узнай, когда дежурит Пьер, и попроси его забрать книгу. Мнемидис еще какое-то время пробудет под действием сильных успокоительных. Ему это до того понравилось, что он попросил еще разок избавить его от самого себя.

Шварц прав. Пьер непременно достанет проклятое письмо, если его попросить. Все так, но столь велико было волнение и нетерпение Констанс, что она выскользнула в холл отеля и отыскала телефон. Позвонив в секретариат клиники, она попросила посмотреть, когда дежурит Пьер. К сожалению, его смена начиналась лишь в восемь утра; что же до больного, то он спал,

и его маленькая палата была заперта, поэтому напрасно было просить кого-то другого в такой час искать письмо. Самое разумное подождать, когда придет Пьер. Так или иначе, но Констанс не могла успокоиться. Она говорила себе, что нет причин, которые могли бы помешать найти письмо. И все-таки… пропажа странным образом выбила ее из колеи.

Речи показались Констанс скучными и бесконечно затянутыми, поэтому она обрадовалась, когда прием подошел к концу, можно было попрощаться с сияющим Шварцем и, усевшись за руль автомобиля, возвратиться в свое уединенное жилище на берегу озера. Приехала она поздно одновременно ощущая раскаяние и торжество — в странном состоянии, связанном с исчезновением письма Аффада и очевидным продвижением в работе с ребенком. И то и другое было неотделимо от Аффада-старшего, так что он приснился ей ночью, и утром она встала расстроенная.

Взглянув на маленький будильник, Констанс спустилась вниз, села в автомобиль и отправилась в *auberge*,[33] чтобы позвонить Пьеру, чей рабочий день начинался в восемь часов утра. Ей

---

[33] Примечания: 33
Таверна *(фр.)*.

пришлось подождать, пока его отыскали, а когда он подошел к телефону, у него был очень удивленный голос и он никак не мог сообразить, что ей надо в такую рань. Однако он внимательно выслушал ее и подтвердил, что Мнемидис взял книги, среди которых были Платон и Шпенглер. Но особенно тот обрадовался маленькой Библии, потому что (как он сказал) ему надо кое-что проверить.

— C'est un drôle de coco celui-la![34] — со смешком признался великан и добавил, что все книги в тумбочке рядом с кроватью Мнемидиса и с ними ничего не случится.

— Пожалуйста, — попросила Констанс, — сделайте мне одолжение, найдите Библию. В ней должно быть письмо на имя мсье Аффада. Оно из Египта. Если вы найдете его, я немедленно приеду.

Пьер обещал проверить, нет ли письма, а Констанс стала ждать. Прошло довольно много времени, но это понятно, ведь в том крыле, где находился Мнемидис было много дверей, которые приходилось по очереди отпирать, а потом запирать.

---

[34] Примечания: 34
Какой забавный тип! *(фр.)*.

Письма в книге не оказалось!

Не было смысла повторять: «Вы уверены? Вы совершенно *уверены?*» Пьер почувствовал по ее тону, что это письмо очень важное, и встревожился.

— Я просмотрел все книги, бумаги и папки. Заглянул в саквояж, чтобы удостовериться, нет ли его там. Потом я обошел всю палату, проверил на полках, даже в душе посмотрел… везде, доктор, везде где только можно!

Констанс закрыла глаза и мысленно обвела взглядом свой кабинет и альков с книжными полками. Неужели письмо выпало из Библии, когда Мнемидис вытаскивал книги? Констанс позвонила своей секретарше и спросила, не находила ли та письмо в ее отсутствие, но ответ был отрицательным. Куда оно, черт подери, могло подеваться? Может быть, Мнемидис порвал его и бросил в корзину для бумаг? У Констанс упало сердце при мысли о том, какие сложные поиски ей предстоят, чтобы убедиться в этом. Потом она отругала себя за нервотрепку из-за какой-то ерунды. Конечно же, все образуется. Может быть, Мнемидис, когда проснется, прольет свет на происшедшее. Самое лучшее — спокойно подождать, и пусть все идет своим чередом. Не высказанные

вслух, но страстные речи несколько смягчили напряжение, правда ненадолго. Констанс поглядела на часы. Оставалось еще время, чтобы заняться своими делами и поспеть вовремя (если она поспешит) на дежурство к маленькому Аффаду, которое заканчивалось обедом. Приехав в клинику, Констанс испугала сонного Шварца, который не привык поздно ложиться и расплачивался за нарушение режима несколькими днями апатии и усталости.

— Что это с тобой? — мрачно спросил он.

— Проклятое письмо Аффада, — ответила Констанс. — Оно пропало. Исчезло. Я положила его в Библию, которую решил изучить Мнемидис и теперь всю в заметках держит возле своей кровати. Я позвонила Пьеру, попросила полистать Библию. Письма нет!

С явным раздражением Констанс прочесала, так сказать, свой кабинет в надежде отыскать письмо. Напрасно. В общем-то, Мнемидис взял не так уж много книг, всего полдюжины. Но, естественно, среди них была Библия.

Констанс отправилась в центральную больницу, в дальнее серое здание, где содержались опасные пациенты, и перехватила Пьера, когда тот уже собирался уходить. Вместе они подня-

лись наверх, отперли и вновь заперли множество дверей, прежде чем подошли к маленькой палате, где Мнемидис провел большую часть своей необычной жизни. Все книги были на месте, ни одна не пропала, здесь же находились его собственные бумаги, письма и вырезки из газет — в нескольких папках. В Библии оказалось множество карандашных заметок, словно ее он читал с особым вниманием. Может быть, ради новых воплощений?

— А саквояж? — спросила Констанс.

— Саквояж у него, — ответил Пьер. — Но я осмотрел его. Там ничего нет!

— Ничего! — вздохнув, повторила Констанс.

Она села на ближайший стул и на минуту глубоко задумалась. Оставалось надеяться на то, что Мнемидис сам предложит решение проблемы, когда появится возможность его спросить, — однако до этого еще дней десять как минимум. Надо набраться терпения и ждать до тех пор, пока Мнемидис не сказал свое слово.

— Пьер, прошу прощения за беспокойство. Но как только он очнется, дайте мне знать, чтобы я могла поговорить с ним. Он ведь доверяет вам после того смешного эпизода с часами!

Рот великана-«малабара» медленно растянулся

в добродушной улыбке, и он кивнул головой.

Констанс рассчитала, что ей хватит времени заглянуть в свою квартиру, прежде чем ехать в шато: она хотела взять кое-что из вещей, чтобы чувствовать себя удобно в доме на озере. Пока она рылась в ящиках комода, зазвонил телефон. Это был Сатклифф. Он обрадовался и удивился, застав ее дома, хотя в его голосе звучало недовольство из-за того, что она исчезла, не оставив даже записки.

— Ах! Вот и вы! — проговорил он с наигранной веселостью. — Может быть, сделаете мне одолжение и скажете, какого черта вы исчезли, никого не предупредив? Все спрашивают о вас. У меня есть право знать — или нет?

Констанс объяснила, что ей было необходимо отдохнуть, коренным образом поменяв образ жизни, — короче говоря, она призналась, где была и что делала, прежде взяв с него обещание молчать.

— Собственно, мне надо знать, что ответить принцу, — проговорил Сатклифф. — Вся кутерьма из-за письма, адресованного Аффаду. У него создалось впечатление, будто вы хотите воспользоваться удобным случаем и вмешаться.

— То есть как?

— Ну, например, спрятать письмо или потерять его. Я будто слышу, как он говорит Аффаду: «Знаете, стоит вмешаться женщине, и все летит в тартарары». Прошу вас, ради вашего и моего спокойствия, отдайте мне это проклятое письмо, а я положу его куда надо и отправлю в Египет.

— Письмо пропало!

Сатклифф присвистнул, но не сказал ни слова. Молчал он довольно долго.

— Там, наверное, не поверят.

— Но это правда.

— Даже я с трудом верю. Поклянитесь!

— Клянусь! Провалиться мне на этом месте!

— Там подумают, что вы вмешиваетесь в… ну, в то, что они считают предназначением Аффада. Полагаю, вам известно, в чем смысл письма, ведь оно, если так можно выразиться, сигнал смерти, и что оно означает с точки зрения гностических мероприятий. О Боже!

— Да, я знаю, хотя мне плевать на все их мумбо-юмбо и тайные общества. Дурацкая извращенная философия.

— Упрямства вам не занимать, — сердито отозвался Сатклифф. — В конце концов, метафизическая проблема реально существует. Как повернуть вспять волну духовной энтропии? И

жертвы тоже реальные. Аффад не один такой, кто-то был до него и кто-то будет после него, он — часть традиции, которая соотносится непосредственно с самой смертью. А теперь старик будет думать, будто вы недопустимым образом вмешались не в свое дело. Наверно, он решит, что вы вскрыли письмо или уничтожили его. Вам известно, что в нем?

— Нет. Клянусь!

Воцарилось долгое молчание, во время которого Констанс слышала, как Сатклифф тихо насвистывает — это был знак наивысшего замешательства и раздражения.

— Все это звучит просто по-детски, — не выдержала Констанс. — И египтянин тоже хорош. Почему бы ему не взять копию в центральном комитете или еще у кого-нибудь? Это не первое и не последнее потерявшееся письмо.

— Не может он.

— Даже принц?

— Наверно, даже принц!

С нарастающим недовольством, вызванным нелепым ребяческим поведением египтян, Констанс поведала Сатклиффу подробности происшедшего, прибавив, что, возможно, проблема разрешится, когда Мнемидис очнется от своего

искусственного сна. Сатклифф вздохнул.

— Ладно, постараюсь представить это дело в благоприятном свете, хотя предвижу скептическое отношение насчет ваших добрых намерений. Видимо, им кажется, что вы играете с ними.

— Если так, то я готова сама с ними поговорить. Уверена, мне легко удастся их переубедить.

Однако Констанс не хотелось торопить события, пока оставалась надежда на Мнемидиса. А вдруг безумец попросту спрятал письмо — скажем, за батареей? Так-то так, но ведь они искали везде, даже в таких местах!

— Мне нужно ехать на работу, — сказала Констанс. — Шварц в курсе того, где я, если вдруг понадоблюсь.

Странно, что не было произнесено ни слова насчет возвращения Аффада в Женеву: но Констанс не хотелось проявлять излишнее любопытство, так что она села в автомобиль и отправилась в шато.

В доме, очевидно, никого не было, кроме швейцарки, и Констанс пришлось довольно долго звонить, прежде чем дверь открыли. Няня сияла и улыбалась, хотя тотчас приложила палец к губам.

— Ш-ш-ш! Он спит. Но, боже мой, какая переме-

на! Я едва узнала его сегодня. Констанс, он открыл глаза, он смотрит! У него глубокий живой взгляд.

Она негромко хлопнула в ладоши, после чего вместе с Констанс поднялась по лестнице и вошла в предоставленную им элегантную гостиную, где Констанс сняла пальто и поставила саквояж на стул, продолжая слушать отчет своей помощницы.

— При мне мальчик не плакал — увы, все перемены исключительно ваша заслуга! Но все равно он совсем другой сегодня, и лицо у него теперь открытое, как цветок. И он улыбается! Это так ново для него, что он не знает, как с собой справиться. Не слушайте меня. Пойдите и немного посидите рядом с ним.

Молчать больше не требовалось, так как ребенок проснулся и, лежа в своей кроватке, оглядывался кругом, сгибая и разгибая пальчики, словно собирался что-то ими делать.

Констанс наклонилась, поцеловала маленького Аффада и взяла его на руки, только когда это началось снова — когда он опять заплакал, правда, не так сильно и более осознанно. Потом, устав от плача, он начал зевать, но при этом пристально смотрел на нее, касался ее волос и чуть не засовывал ей в рот палец. Но плакать все же

продолжал. Словно наступил конец света, конец жизни на земле. Констанс еще раз взяла его на руки и принялась убаюкивать, защищая его от всего на свете своими объятиями. Она чувствовала, что он изо всех сил старается найти себя. Может быть, плача, ему было легче возвращаться к себе здоровому! Вот и в этот день, как в те многие недели, что еще были впереди, очистительный плач был единственным плодотворным диалогом между мальчиком и Констанс. Однако и плач тоже менялся, он не был все время одинаковым. Случались дни, когда ребенок злился или хмурился, но очень медленно, как пробивающиеся сквозь тучи солнечные лучи, появлялись признаки спокойного, даже радостного состояния. Это было заметно по его новому лицу — глаза теперь играли ту роль, какая им предназначена, были выразительными, любопытными и даже иногда проказливыми! Время от времени, плача, ребенок позволял Констанс легко коснуться пальцем своего носа, подбородка, лба. Но он ни разу не прекратил плакать, пока у него оставались силы, пока он не исчерпывал их до конца, пока его не одолевала усталость.

Постепенно, шаг за шагом, Констанс буквально на цыпочках продвигалась по неисследованному

пространству детской души, казалось, что она уже подбирается к проблеме, остановившей психическое развитие мальчика. Новым было и то, что маленький Аффад подсознательно стал помогать ей. Он перестал напрягаться, как это было с ним прежде, он как будто набирался от нее сил, признавая свою слабость.

Но случалось и по-другому: например, иногда он становился агрессивным: то как будто пытался выколоть ей глаза, то грубо засовывал пальцы ей в рот, но все заканчивалось беспомощными слезами, словно злое побуждение истощалось само собой. В его агрессии Констанс «читала» нежелание подчиняться пока еще не очень решительным призывам разума и здоровья. Переставая плакать, он лежал у нее на коленях зачарованный, задумчивый, прислушиваясь к ее пению. Бывало, он вновь, но уже осторожно касался ее рта и размазывал вокруг него свою слюну, словно исполняя какой-то ведомый ему одному ритуал. А то лежал неподвижно, словно младенец, издавая непонятные и тихие звуки, что-то вроде «да-да-ва-ва». Однажды он коснулся губами ее щеки, неожиданно признавшись таким образом в своей привязанности, но сразу же как будто раскаялся в этом и вновь, отвернувшись

от нее, погрузился в апатию и безразличие. Тем не менее, его глаза теперь были открыты, и он мог смотреть на внешний мир за окном спальни или детской или, например, на медленно раскрывавшееся, словно китайский веер, озеро во время дневной прогулки по набережной. Бабушка говорила, что по ночам он все еще оставался беспокойным, но периоды хорошего настроения стали долгими, а жесты и движения производили впечатление осознанных. Хотя Констанс понимала, что процесс выздоровления будет долгим, все-таки он начался, и направление было задано правильно — это напоминало корабль, идущий верно выбранным курсом. После первых успехов она почувствовала, как на нее навалилась невероятная усталость, причиной которой стала ее профессия. Какой смысл в психическом восстановлении такого рода, если больного нельзя оставить без компетентной помощи? Кто заменит ее, кто будет с такой же любовью и теплотой обращаться с маленьким роботом, если ей придется его покинуть? Сейчас ее вполне удовлетворяли имеющиеся положительные результаты, но у нее уже появлялись мысли о будущем, она начинала понимать, что предвещало прошлое! Как было бы прекрасно провести ночь с мужчиной, вместо

того чтобы сидеть тут словно привязанная, не смея пошевелиться, не имея права на легкий, незамысловатый, живительный флирт. В этом заключалась ужасающая слабость слишком серьезного восприятия жизни. Что делать? Один раз она попыталась сбросить оковы собственной сентиментальности, когда напилась на вечеринке с коктейлями и не устояла перед чарами милого молодого коллеги. Все равно что пытаться зажечь сырую солому. Ей было стыдно не только из-за его неумелости, но и из-за собственной неудачи. Аффад правильно говорил, что секс явление психическое, а тело всего лишь резервуар ощущений. С этой точки зрения, любовь не терпит компромиссов, и человек падает в ее стихию, как в разноцветный прибой!

Но если по глупости Констанс и поздравляла себя с все большим успехом в лечении, то ее самомнение было уничтожено в зародыше малозначительным, в сущности, инцидентом, который, тем не менее, продемонстрировал, насколько сложными и непонятными могут быть ассоциативные связи, провоцирующие и определяющие наше поведение. По крайней мере, именно это прозвучало в замечании старой дамы, когда они однажды как всегда медленно ехали

вокруг озера. Старая дама, несмотря на свою молчаливость, была на редкость наблюдательной.

— Вы сегодня не надушены! — произнесла она, обратив на Констанс взгляд черных, как у оперной певицы, глаз.

— Наверно, потому что я сегодня плавала в озере — но я душилась, правда запах совсем слабый. Неужели обычно бывает сильнее?

Старая дама улыбнулась и покачала головой.

— Нет. Просто это духи моей дочери — Лили.

— «Jamais de la Vie»?[35]

— «Jamais de la Vie»!

Констанс была ошеломлена, огорошена, но довольна как профессионал — не исключено, что именно благодаря *духам* ей удалось расшевелить ребенка, так быстро завоевать его. И слезы… Она задумалась о прежнем диагнозе в свете новых знаний. Ей повезло, когда она выбрала для себя новые духи, когда изменила прическу, изменила свою внешность, ведь она действовала наугад. Неужели это и есть ключ? Констанс повернулась, чтобы взглянуть на безразличное личико ребенка, сидевшего рядом с ней в очень большом автомобиле, и задумалась. А что если все чувства

---

[35] Примечания: 35
Никогда в жизни *(фр.)*.

и поступки людей зависят от таких ассоциативных мелочей?... Тогда это настоящие дебри ассоциаций, лабиринт откуда исходят все порывы. Кроме того, с психологической точки зрения совершенно правильно искать корни эмоций и желаний в запахе — его широкие возможности никогда еще не подвергались настоящему изучению и вряд ли будут до конца изучены. Констанс попыталась вспомнить запах Аффада, но, скорее, это был не-запах, подобный запаху пустыни, так как там, где почти не было воздуха, витал аромат винограда или гвоздики! (Ненавижу литературщину, произнесла она мысленно!)

— Скоро я покину вас, — сказала Констанс старой даме. — Рано или поздно, но надо возвращаться к другим больным. Нет, не смотрите так испуганно! Пока все идет хорошо, и Эстер справится. Кроме того, я никуда не уезжаю, и со мной всегда можно посоветоваться в случае чего. Стоит только позвонить!

Старая дама как будто успокоилась, и больше об этом не было сказано ни слова. После прогулки Констанс отнесла своего сонного пациента вверх по лестнице в детскую и посадила среди игрушек, которые начали вызывать у него интерес.

На той же неделе произошло еще одно знаме-

нательное событие. В один прекрасный день швейцарка встретила Констанс с победным выражением лица воскликнула:

— Эврика! Сегодня он взял стакан с молоком и попробовал обойтись без моей помощи. Констанс, это настоящее чудо!

Констанс знала, что скоро покинет шато. Не поддавшийся на уговоры Мнемидис утверждал, что не видел никакого письма ни в Библии, ни в других книгах. Неужели врет? А если врет, то зачем? Но хуже всего было то, что Констанс получила от Аффада письмо с упреками, которые считала незаслуженными. Она пришла в ярость и в то же время чувствовала себя виноватой. В конце концов, подтвердив, что взяла письмо у Блэнфорда, она не подумала о том, как передать его Аффаду, — но если бы они с Аффадом встретились, как было намечено, она передала бы письмо, и все было бы нормально. А теперь ее обвиняют… Это несправедливо и неумно со стороны Аффада и остальных.

> «Дорогая Констанс! Мне и в голову не могло прийти, дорогая, что ты таким чудовищным образом вмешаешься в мои дела; но хотя это мне не по душе, я пони-

маю тебя, ведь ты считаешь, будто все можно предотвратить, стоит только проявить решительность… Увы, это не так. Жаль, что я слишком разоткровенничался с тобой о структуре гностической веры и серьезном опыте, который проводит наша группа. В дурацком письме должно быть только число — и ничего о том, кто и как будет действовать. Это малая часть информации, которая подвигает нас на исполнение *devoire*[36] — без этого мы как все, ничто, незаметные: вспомни о первородном грехе! Своим поступком ты как бы обрекаешь меня на смерть без отпущения грехов! Простой этот факт побуждает всерьез задуматься об одной из главнейших особенностей человеческого существования, которую никогда не изучали, обходили стороной, боялись! Люди «выдыхаются», они не *умирают* в прямом смысле этого слова, «заброшенные природой»! Я прошу тебя вернуть письмо. У тебя нет на него прав, а у меня есть. Не могу поверить, что ты предаешь

[36] Примечания: 36
Долг (*фр.*).

меня таким образом, хотя ты детерминистка и бихевиористка. Ах! Как глупо! Мне очень стыдно за такой неожиданный взрыв с моей стороны, но я в самом деле огорчен и из-за себя, из-за своего *salut*[37] (дурацкая фраза), и из-за человека или людей, которые должны последовать за мной. Я лишь одно звено в длинной велосипедной цепи. Надеюсь, ты поймешь эти слова, как поняла бы слова любви — неужели ее больше *нет?* Ты забыла меня? Забыла, как мы при свече играли в карты с умирающей Долорес?»

Констанс была потрясена. Нет, она не забыла, она просто заставила себя не вспоминать, возможно, чтобы не причинять себе боль, потому что Долорес была ее лучшей подругой в детстве и потом в медицинской школе. Когда умер ее муж, музыкант, она срезала свои прекрасные волосы и бросила в гроб. Но волосы выросли снова, прекраснее прежних, да и ее единственный ребенок тоже рос и становился старше. Долорес считалась едва ли не лучшим хирургом среди своих ровесников, однако ей не повезло: оперируя, она

[37] Примечания: 37
Спасение *(фр.).*

заразилась, и спасти ее не удалось. Констанс не раз брала с собой Аффада в больницу к Долорес, и они втроем играли в карты на ночном столике. По мере того как Долорес слабела, ей становилось труднее поддерживать компанию, но они все равно по привычке, рожденной дружбой, приезжали и сидели с ней ночами. Однажды вечером умирающая женщина дала им свою косметику и сказала, что рассчитывает на них, мол, если она умрет внезапно, они должны привести ее лицо в порядок до прихода сына. Они обещали и стали как всегда играть в рамми. Долорес чувствовала себя хуже обычного, она бредила, засыпала за игрой, потом, после короткой судороги, перестала дышать. И Констанс, и Аффад с печалью и смирением восприняли этот удар судьбы. Констанс попыталась найти пульс, проверила дыхание, после чего закрыла несчастной глаза. Аффад обнял Констанс, Констанс тоже обняла его и принялась гладить его волосы, шею, уши, словно скульптор, лепила его образ из влажной глины неодолимого желания любить, чтобы победно утвердить его, воссоздать, отнять у времени. Потом, когда они рука об руку спустились вниз, чтобы вместе выпить по чашке кофе, Аффад сказал: «Тебе, верно, известно, что, присутствуя при

смерти человека, при его последнем вдохе, лучше понимаешь неотделимость одного вдоха от другого. А между вдохами пространство, в котором обитаем мы, между предыдущим и последующим вдохами есть поле, или ареал, в котором время существует, а потом перестает существовать. Наше восприятие реальности сплетено дыханием, как кольчуга. В маленьком пространстве между двумя вдохами, совсем крошечном, начинается оргазм как общий синхронизированный опыт, который становится все более и более осознанным, все более и более мощным и все более и более щедрым с каждым поцелуем. Констанс, нам нельзя поступать неправильно. Любовь не может стать другой для нас! Боже, как бы мне хотелось, чтобы ты забеременела!» И она ответила: «Если ты так хочешь, так и будет!» Но этого не случилось. И теперь уже не случится. Что ж, это было реально, и никогда прежде Констанс не думала ничего такого о значении любви и ее мощи. Это лучше, чем заниматься любовью как своего рода моральным совокуплением с некими добрыми намерениями. Или совсем не заниматься! Или совсем не заниматься!

Все время я провожу в дурацких разговорах о роковом письме, и поначалу мне казалось, будто

произошла ошибка. Но теперь я думаю, а принц в этом уверен, что ты решилась на *coup de main*,[38] чтобы меня спасти. Дорогая, в этом нет смысла. Пожалуйста, поверь мне, я знаю что говорю. Принц тоже напишет тебе, хотя он уже звонил по телефону столько раз, что мне даже стыдно. Констанс…

Она задумчиво положила письмо и на мгновение предалась воспоминаниям о том давнем времени — до чего же на самом деле это было недавно, а в сознании — словно в другой жизни! Они были одержимо привязаны друг к другу — но осталось ли это в прошлом? Констанс прислушалась, замерев, к своему дыханию, словно хотела получить от него ответ. Неужели Аффад остался *в прошлом?* Парадоксально, но только он сам мог ответить на этот вопрос, появившись или не появившись вновь. Они были вместе не ради удовольствия, а ради экстаза, не ради чего-то простого, а ради достижения вершины, и как раз это Констанс считала неповторимым в их любви. Их любовь не ждала одобрения, не знала границ и была равной с обеих сторон. Констанс даже в голову не приходило, что такую любовь можно

---

[38] Примечания: 38
Смелое предприятие *(фр.)*.

пережить, потому что она была такой полной и навсегда отметила собой их обоих! Тихонько ругнувшись, Констанс попыталась вообразить, будто с ее стороны все это было прискорбной слабостью, однако она лгала себе и понимала, что лжет. Между ними встало проклятое письмо. Со смирением и печалью она собрала вещи, заперла домик у озера и поехала обратно в город.

Собственная квартира показалась Констанс мрачноватой и неприветливой, отчего она немедленно бросилась вытирать пыль и вообще наводить порядок. Пустая морозилка блистала ледяными стенками, словно нутро солнца. Потом Констанс поехала в клинику, где ее уже поджидая, гневно сверкая глазами, очень сердитый Шварц.

— Послушай, я хочу поговорить с тобой о Мнемидисе и его воровстве. Он жив-здоров, слегка не в себе, но вполне готов к новым трюкам. Констанс, мы не можем держать его у себя, что бы ты ни сказала; для этого у нас нет условий даже в самом охраняемом блоке, мы не можем следить за ним как положено. Он осужден, и его следует возвратить властям. Если ты и теперь собираешься оправдывать его паранойей, то должна ясно представлять возможные последствия. Какой смысл навлекать на себя опасность или справляться с

лишними трудностями? Мы ничем не можем ему помочь и должны честно признаться в этом.

Констанс села за свой стол. — Что с письмом? Шварц вздохнул.

— Никаких следов! А ты чего ждала? Я был в этом уверен. Не исключено, конечно, что он спустил его в унитаз.

С неожиданной решимостью Констанс поднялась и взяла Шварца за плечи.

— Я чувствую, что надо работать с ним, пока мы не удостоверимся, что он не видел письма. Дайте мне месяц или два, и я верну его вам в том же виде. Но мне необходимо попытаться — ради Аффада.

— Ради Аффада, — уныло повторил Шварц. Он повернулся во вращающемся кресле и сдвинул очки на лоб. — Еще одна причина! А что нам делать с посетителями? Несколько человек уже просили о свидании с Мнемидисом, кстати среди них доктор из Александрии, который назвался его другом и лечащим врачом. В *тюрьме* есть соответствующие правила, они могут принять меры безопасности. В тюрьме знают, как отвечать таким людям. А у нас никаких правил. Так что, пустим к нему посетителей? Врача, делового партнера?... — Шварц был напуган, и Констанс

это понимала, — Может быть, нам установить приемный день, как в тюрьме? Что ты подразумевала под «строгим режимом»? Объясни.

Они долго просидели молча, хмуро глядя друг на друга. Констанс знала, что в таком состоянии он не уступит, если только она не подольстится к нему. Это было нечестно, но…

— Пожалуйста, помогите мне, — проговорила она. — Я знаю, что всего лишь исполняю свой долг, стараясь установить правду. Это самое малое, что я могу сделать. А потом, обещаю, буду очень послушной, *абсолютно* послушной!

Итак, они заключили компромиссное соглашение и насчет лечения, и насчет посетителей — Констанс одержала победу над вздыхающим Шварцем.

Тем не менее письмо как в воду кануло; хотя то, как Мнемидис говорил о нем, как отвечал на вопросы, предполагало нечестную игру. Говорил он обиняками, отворачивался при этом и повторял: «От кого к кому? Насчет чего? Странное имя, наверняка египетское. Да, точно, египетское. А почему я должен был его видеть? В Библии? Там много неправды. И дат нет, невозможно установить, когда что было!»

Но от Констанс не ускользал огонек, вспыхи-

вавший в его глазах, и другие почти незаметные намеки на возможность… Между тем, она осознавала и то, что слишком сильно хотела заполучить письмо назад, и потому могла заблуждаться. Долгий сон пошел Мнемидису на пользу, выглядел он гораздо свежее и свободнее выражал свои мысли. Но, естественно, в его мыслях не было связности — что характерно для параноиков. Констанс была начеку и внимательно следила за первыми проявлениями мании величия и мании преследования, которые указывали врачу на приближение опасности. Преследование было закодированным сигналом насилия, и Констанс надлежало не терять бдительности, чтобы не спровоцировать Мнемидиса своей настойчивостью.

Из окна палаты он следил за работавшими в больнице монахинями. Особый интерес у него вызывало то, что они принадлежали к ордену, в котором давали обет молчания, — ведь сам он говорил непрерывно, неумолчно, неустанно.

— Даже когда никого нет, я слышу, как говорю сам с собой, мне это необходимо — так уж формировался мой интеллект, чему способствовало и дорогостоящее образование. У меня захватывает дух, я теряю голос. Даже мучаюсь от головных

болей. Однако есть еще и диалектическая пытка — параллельные ряды, вероятно, должны встретиться в вечности, но этого не происходит. Я знаю, потому что я уже в вечности, я там, а они не встречаются.

Глаза Мнемидиса наполнились слезами, прекрасные глаза с неистовым выражением, которым был ведом лишь один вид наслаждения — смерть! Послышался бой часов — конец очередного сеанса. Констанс сообщила Мнемидису, что его свидание с другом и врачом из Александрии назначено на следующий день, и Мнемидис кивнул, загадочно улыбнувшись и соединив руки на животе, как китайский мандарин. Однако больше ничего не произошло. Казалось, что письмо пропало навсегда. Стоило ли упрямиться и продолжать поиски?

И вот тут на сцене появился лорд Гален, давно забытый карнавальный персонаж, причем появился он настолько неожиданно, что Констанс даже не сразу вспомнила его имя.

— Дорогая Констанс, — проговорил он с упреком, — неужели вы совсем забыли *меня?* От вас я этого не ожидал!

Констанс ничего не оставалось, как выразить искреннее раскаяние, ведь ей нравился старый

лорд Гален — стоило вспомнить его имя, и все тотчас улыбались. И вот он тут, собственной персоной, рассеянный и наивный, как прежде, со свернутой «Файнэншл тайме» под мышкой. Эта газета всегда была при нем — точно так другие не могут выйти никуда без книги стихов или романа, предполагая заглядывать в них время от времени. Лорд Гален пригласил Констанс на ланч в самый модный ресторан и размашисто подписал чек как представитель некоего международного агентства. Отвечая на ее вопрос, он сказал:

— Моя дорогая, я приехал сюда как координатор. После большой войны надо многое координировать. Меня назначили Генеральным координатором Центрального бюро координации. Я должен за всем наблюдать и все мгновенно координировать! Таким образом мы все сбережем много времени и денег.

У Констанс появилось желание спросить, какое ему самому назначено жалованье, но она промолчала. Лорд Гален разглагольствовал о предмете, о котором, видимо, имел отличное представление. Однако суть его лекции Констанс не сумела уловить. Очевидно, он научился так говорить в Америке, потому что сказал:

— Я *очень доволен* поездкой в Америку! — произнес он, словно вручая школьную премию. — Понавидавшись отвратительных немцев, должен сказать, что нет ничего лучше как быть евреем в Америке. Америка говорит голосом евреев, и это дорогого стоит. В конце концов, мы выиграли войну и теперь завоюем мир. Вы улыбаетесь, Констанс! Я сказал что-то *смешное?* Итак, я приехал в Женеву, чтобы координировать мировое еврейство. Наверно, это займет много времени, наверно, мне придется принести себя в жертву, наверно, мне урежут *frais de représentation*.[39] Ну и что? Кстати, мне удалось выбить для Обри награду за его храбрость — Орден Британской империи. Видели бы его лицо, когда я сказал ему об этом! Он побледнел от гордости и неожиданности. Ему даже в голову не приходило ничего подобного, но я позаботился о нем. Одно словечко премьер-министру, и…

Версия Обри, у которого мгновенно испортилось настроение, когда Констанс рассказала о встрече с лордом Галеном, была совершенно другой, на грани гротеска.

— Побледнел от гордости, ничего себе, да мне

---

[39] Примечания: 39
Представительские расходы *(фр.)*.

стало плохо от унижения. Представьте! В один прекрасный день, без всякого предупреждения, раболепный Кейд открывает дверь и впускает чиновников в костюмах в полоску и галстуках. Среди них генеральный консул, два чиновника из консульства, Сатклифф, Тоби, лорд Гален и еще два господина, вроде бы журналисты. Представляете, как я испугался, когда они все бросились ко мне? Мне на минуту показалось, что они пришли меня кастрировать. Невинсон, консул, держал в руках Библию и коробочку, тогда как в руках у его чиновника были (одному ему известно, зачем) наградной лист и зажженная свеча. Тут у меня появилась другая гипотеза — они пришли выгонять меня. Лорд Гален произнес нелепую речь, на редкость лживую и непродуманную. Он восхвалял все, кроме моей красоты, — гражданское чувство, непоколебимое мужество под вражеским обстрелом, мой беспрецедентный подвиг, мои страдания, *mon cul*[40] — все! Я лежал между простынями, как черствый сэндвич, и не возражал, пока все это лилось на меня. Унижения мне хватило, тем более что среди остальных был Райдер, шеф Сатклиффа, а ведь его жена чуть не погибла

[40] Примечания: 40
Мой зад *(фр.)*.

под бомбежкой в Лондоне, она потеряла руку и глаз, тогда как я… Подумать только! Потом консул откашлялся и прочитал длинное и бессвязное сообщение о моем награждении, написанное так, будто кто-то в спешке списал его утром из «Дейли миррор». Потом он пришпилил орден к моей пижаме, и в потолок полетела пробка из бутылки шампанского, как того требует обычай. Я чуть не взвыл от ярости. А под конец лорд Гален познакомил нас со своей жизненной философией, и это прозвучало примерно так: «Пришло время покупать кирпичи и известковый раствор. Вы не ошибетесь, потому что это правильно». А Тоби, который только что побывал в женевском банке, чтобы обналичить чек, спросил: «Вы заметили? Теперь банкиры особенно нежно берут друг друга за плечи, заглядывают друг другу в глаза, словно ласкают богатство друг друга, которое приравнивают к половым органам». Лорда Галена так не привечают, вот он и выглядел обиженным.

Профессиональный врач в Констанс навострил уши, так как рассуждения Обри были необычно живыми, и она поняла, что Обри стало лучше, что он в самом деле идет на поправку. Он уже мог встать на ноги и планировал на следующей неделе сделать хотя бы несколько шагов. Опера-

ции прошли на редкость удачно. Неожиданное улучшение побудило Обри вновь заняться своей книгой, «авторизованная версия» которой находилась среди разрозненных бумаг Сатклиффа, искаженной тенью нависавшего над его жизнью.

— Кстати, звонил Аффад, — проговорил он не без злости, внимательно вглядываясь в ее лицо и словно ища в нем перемены.

Констанс ответила холодно, выложив все, что ей было известно о письме, а также рассказав о своем скрытом единоборстве с Мнемидисом. Обри вздохнул и покачал головой.

— Он вернется, хотя и не сказал когда. Кстати, если уж речь зашла о скандале, то мне стало известно кое-что из ряда вон выходящее. Лорд Гален посещал *maisons de tolerance*[41] в городе и в одном из них столкнулся с Кейдом, который вдруг заинтересовался низменной стороной жизни. Похоже, у лорда Галена трудности с эрекцией, и лондонским врачам не удалось подобрать для него действенного стимулирующего средства. Испытав все, но безуспешно, они предложили ему поехать на континент, где к этому относятся с

---

[41] Примечания: 41
Дома терпимости *(фр.)*.

большей серьезностью. Более того, в Женеве есть особый бордель для банкиров под названием «Le Croc»,[42] который специализируется как раз на таких отклонениях, вот его-то и облюбовал Кейд.

— Зачем это ему? Вы спрашивали?

— Спрашивал. Он чешет в затылке и долго думает, прежде чем ответить на своем противном кокни: «Приятно для разнообразия». «Приятно» он произносит, как «пириятно», а «разнообразие» — и вовсе по-дурацки. Господи, Констанс, мы все обо мне и обо мне, и я забыл сказать, как прелестно вы выглядите, ваш новый стиль бесподобен. Поцелуйте меня, пожалуйста, в знак того, что я вам небезразличен — поцелуете?

Такую галантность Обри выказал впервые, но и в объятиях Констанс не было холодности. Обри знал, что она любит его и можно просить о чем угодно. А это лучше любого лечения!

— Даже новые духи, чтобы завершить преображение! Браво!

Обри знал, что Констанс старается выстоять после потери Аффада, вновь подняться после сокрушительного удара, если так можно выразиться. Однако все это надо было произнести

---

[42] Примечания: 42
Крюк *(фр.)*.

по-дружески, чтобы она не заподозрила «тактичного» умалчивания.

— Аффад сказал, когда приедет?

— Он сказал, что скоро, очень скоро.

— *Eh bien*,[43] — произнесла Констанс, стараясь казаться безразличной.

Но на самом деле она была рада, что почти возобновила свой прежний распорядок жизни; теперь она не так часто навещала мальчика, решив перевести его любовь и привязанность на швейцарскую няню. Для этого она не забыла оставить ей флакон духов, которыми пользовалась Лили и которые должны были помочь. В тот же день ей удалось переговорить с хирургами Обри насчет его состояния, а потом, естественно, явился Феликс Чатто пропустить стаканчик вина вместе с Тоби и презренным *patibulaire*[44] Сатклиффом, который, как всегда, был и похож на висельника. Однако все они очень обрадовались, увидев ее опять! И она обрадовалась, вновь оказавшись среди них.

В тот же день Шварц познакомил Констанс с психиатром из Александрии, чтобы они обсуди-

---

[43] Примечания: 43
Ну что ж; ну хорошо *(фр.)*.

[44] Примечания: 44
Висельник *(фр.)*.

ли состояние Мнемидиса. Египетскому врачу, очевидно, хотелось получить какие-нибудь медицинские сведения перед свиданием со своим бывшим пациентом и другом. Это был высокий худой мужчина с каркающей, как у вороны, речью. Безупречно одетый, он держал в руках настоящий темный хомбург.[45] Еще у него была трость с золотым набалдашником, которая придавала ему вид колдуна-на-отдыхе. На широченных, как лопаты, руках блестели ухоженные длинные ногти модника. Лицо было бледное, длинное, козлоподобное, с сатанинскими желтыми глазами, несколько воспаленными, словно после недавнего возлияния. Разговаривал он благодушно, однако властно, и с заговорщицкой улыбкой называл Мнемидиса «нашим другом», а к Констанс один раз обратился со словами «моя дорогая коллега», что недвусмысленно говорило о его манерах. Как оказалось, он привез Мнемидису письмо, к тому же надеялся провести с ним минут десять и уже получил на это разрешение.

— В первую очередь я хотел поставить вас в известность, что приехал договариваться об освобождении Мнемидиса под поручительство

---

[45] Примечания: 45
Мягкая фетровая шляпа с узкими немного загнутыми полями.

его бывшего партнера, египетского миллионера, который предоставит любые гарантии безопасности и надежную охрану во время транспортировки «нашего друга» на родную землю. Мне было бы желательно уточнить насчет юридической процедуры: какие бланки мне надо заполнить, какие документы получить.

Они обсудили это, правда, несколько сумбурно, но Констанс не сомневалась, что власти с радостью отдадут Мнемидиса под любое поручительство, лишь бы избавиться от него. И все-таки было необходимо проконсультироваться с уголовным законодательством.

— Как раз этим его партнер и занимается. Сегодня я буду все знать точно, а завтра мы начнем действовать.

— Вряд ли это будет очень быстро.

— Что ж, мы можем и подождать, если потребуется. Женева — очень интересный город, и у нас тут много друзей. Послушайте, доктор, а почему бы вам не пообедать со мной сегодня? Окажите мне честь.

Констанс немного посомневалась, но в конце концов согласилась; не исключено, что козлоликий эмиссар знаком с Аффадом и от него можно получить какую-нибудь информацию.

Мысленно Констанс отругала себя за свой ответ египтянину:

— Благодарю вас, доктор, с удовольствием.

Он поднялся во весь рост и неуклюжим резким движением протянул ей руку. Почему-то у Констанс сложилось впечатление, что он смотрел на нее и говорил с ней как с человеком, о котором ему многое известно. Но, возможно, это был очередной самообман, недостойный, в первую очередь, психиатра! Тем не менее, она встретится с египтянином! Тем не менее!

Он уже сидел за угловым столиком, когда она вошла в старый ресторан «Бавария» с псевдоавстрийской мебелью и приглушенного цвета стенами, на которых висели политические карикатуры в рамках. Египтянин объяснил, что специально пришел пораньше, желая занять именно столик в углу, так как прочитал в газетах, будто в этот день открывается большая международная конференция, а ему, мол, давно известно, что творится в кафе и ресторанах в такие дни. Он был в *tenue de ville*[46] темного цвета с жемчужной булавкой, благодаря которой производил впечатление адвоката или судьи. Далеко не сразу

[46] Примечания: 46
Городском костюме *(фр.)*.

Констанс поняла, что он не совсем трезв, отчего его речь стала более плавной, ибо в ней уже не было вороньего карканья.

— Получили свидание? — спросила Констанс, и он ответил, что у него была не совсем удовлетворившая его встреча с Мнемидисом.

— Он очень смущен вопросами, которые ему задают врачи. Путает врачей с полицейскими. Понимаете, в Египте он всегда был в привилегированном положении; наверно, вам это неизвестно, у него есть дар лекаря, помимо всего остального — менее приятного. Он знаменит и сделал состояние своему каирскому партнеру Ибрагиму. Поэтому, когда он вдруг исчезает и проводит несколько дней на базарах Каира с неизбежным результатом, на это закрывают глаза, хотя, конечно же, его хватают и сажают в тюрьму. Однажды ему посчастливилось вылечить начальника полиции от камней, от желчно-каменной болезни. Стоило ему прикоснуться к Мемлик-паше, и тот безболезненно избавился от камня, избежав таким образом операции, на которой мы все настаивали. Да будет вам известно, что Египет странная, непостижимая страна. Там иначе смотрят на мир. Нам, то есть грекам и евреям из второй столицы, из Александрии, это

трудно понять, потому что многие из нас выросли в Европе и смотрят на мир вашими глазами. Но мы можем смотреть и так, как они. У нас двойное зрение. Конечно, простыми определениями тут не обойтись. В Мнемидисе *вы* видите человека, страдающего паранойей и наследственной эпилепсией, результатом которой стали внезапные приступы гипомании.[47] Вчера вечером Ибрагим сказал, что он родился под знаком Овена, когда Марс и Солнце противостоят Плутону; луна в плохом соотношении со Скорпионом, плюс магнитный диссонанс между Львом и Меркурием в восьмом доме… Все зависит от того, где вам угодно искать объяснение той странной путаницы понятий, которая побуждает его к действию.

С кроткой усталой улыбкой египтянин обратил на Констанс взгляд желтых глаз и потер руки, словно что-то демонстрировал этим жестом. Пожалуй, он начинал ей нравиться, потому что, хоть и произносил слова уверенно, она ощутила в нем притягательную робость, застенчивость. Ей хотелось расспросить его об Аффаде — в конце концов, ради этого она приняла приглашение — однако проклятая гордость не позволяла за-

[47] Примечания: 47
Легкая степень маниакального состояния.

дать вопрос. Ну что прикажете делать с такой женщиной?

— Полагаю, это совсем другая реальность, — сказала она.

— Совсем другая, — отозвался он, — но не менее приятная, как только вы поймете, до чего слова могут быть хитрыми. Наша так называемая научная реальность всего лишь некое допущение, подходящее для некоторых интеллектуальных упражнений, а мы осмеливаемся не верить в это, целиком и полностью не верить. Как мы можем поклясться, что у электрона нет своей сексуальной жизни?... Боже, до чего же я глуп! Правильно, что вы улыбаетесь! Но там, где правит гипотеза об индивидуальном эго с его неотъемлемыми свойствами, как в христианском мире, люди живут в состоянии бессознательного галлюцинирования. Не слишком сильно сказано?

— Нет. Эта проблема затрагивает и психиатрию.

— Доктор, не думаю, что вы правы. Или мы не понимаем друг друга. В любом случае, система Фрейда работает с гипотезой об индивидуальном эго.

— А Юнг?

— Доктрина начала распадаться у Юнга, ведь

он по темпераменту неоплатоник. Но вы правы. Однако все открытия принадлежат Фрейду, и ему все почести. Если что-то не срабатывает на сто процентов, что ж, не его вина. Он останется в веках, как Ньютон. Но *нам* и *сегодня* невозможно обойтись без его гения.

— Мнемидис, когда вернется в Египет, заживет по-старому? Он получит свободу?

— Полагаю, он будет под разумным наблюдением — но кто знает? Полицейские могут превратить его в свой инструмент, направляя его деятельность в нужную им сторону: Мемлик на это вполне способен. Никому нет дела, и вам тоже, если однажды перед ланчем приличный человек придушит пару кроликов. В Индии, откуда все пошло, этот вид деятельности, естественно отвратительный, появился благодаря богине, имя которой, насколько мне помнится, Кали; убийство было, мне говорили, актом так называемого *удушения*.[48]

— О Господи!

— Да. О, Господи! — сказал он, наливая себе еще вина. — В Каире много суеты, шума, огней, пыли, блох, людей, света и тьмы, так что исчезнувший

[48] Примечания: 48

Здесь имеется в виду разбойник-душитель, член религиозной секты в Северной Индии.

человек никогда не пропадает бесследно. Даже я, когда еще практиковал, попытался применить пару методов к нашему другу — из любопытства. У него был параноидальный страх, ему казалось, что стены комнаты сужаются вокруг него. Ну вот, у меня была особая камера специально для него, в которой стены, действительно, передвигались на пять дюймов в день. Знаете, он положительно отреагировал, когда узнал, что это ему не мерещится, что это правда; камера становилась меньше за счет движения стен! Человеку комфортно с его заблуждениями, ему лишь надо, чтоб они подтвердились.

— Да, я понимаю эту диалектическую хитрость, однако никакая такая хитрость не подскажет вам правильное лечение. Дискуссии о реальности относятся к области философии, причем заранее предполагается, что *философ* не сошел с ума. Еще один вопрос! *Вам самому* нравится, что делает Мнемидис?

— Нет. Я бы упрятал его подальше. Думаю, что здоровое общество, попытавшись в течение нескольких лет его вылечить, упрятало бы его подальше. Содержание под стражей бесполезно.

— Но?…

— Но я могу быть неправ. Возможно, все спра-

ведливее, чем я представляю. Кроме того, поглядите на ужас, который начался, когда я попытался взять власть в свои руки и действовать сам — Гитлер! Вот вам иллюстрация неправильного применения силы, неправильного приложения человеческих усилий! Какой смысл в избавлении от несчастных евреев, если сохраняется монотеизм? Вот уж безумие!

— Вам надо поговорить со Шварцем.

— Я говорил. Он согласен со мной.

— Вы еврей?

— Конечно. Все мы — евреи!

В его словах появилась нечеткость, словно начало сказываться немалое количество выпитого вина, однако, как будто прочитав мысли Констанс, он сказал, успокаивая ее:

— Я говорю, как пьяный, да? Но я не пьян. Вчера по чистой случайности я принял слишком много снотворного и в результате сегодня весь день хожу сонный. Прошу прощения.

— А пить вам обязательно?

— Наверно, нет. Но попозже мне еще нужно навестить старого друга, чтобы вместе с ним выпить по стаканчику на ночь, и я должен быть в хорошей форме. Вы ведь знакомы с Сатклиффом?

— Конечно! И вы с ним знакомы?

— Еще как знакомы! Пуд соли, так сказать, вместе съели. Но довольно долго не виделись, и мне не терпится сравнить письма с самим плутом.

— С Блэнфордом вы тоже знакомы?

— Я знаю о нем от Сатклиффа — что-то там насчет их книги, которая не очень продвигается. Сатклифф говорил, что они оба попытались изложить свои версии, и книга от этого очень пострадала. Насколько мне известно, у Сатклиффа здесь работа, которую он ненавидит. Что же до «нашего друга» Мнемидиса, то он был бы счастлив вернуться домой в Каир. Сказал, что у него нервы не выдерживают допросов. Естественно, он говорил по-арабски; мол, вы кладете лекарство правды в его еду, поэтому он не ест и вечно голоден.

— О Боже! — с негодованием воскликнула Констанс. — Началось!

— Я подумал, что вам нужно знать, не исключено, что он что-то сказал.

— Нет, не сказал, хотя мне этого очень хотелось! Ужасно, когда начинается мания преследования. Это нечестно!

Ее собеседник рассмеялся.

— Вы правы. Все тихо, и слышна лишь ругань психиатров, меняющих замки на дверях! Номер

вашего телефона есть в телефонной книге?

— Есть. Но я думаю, что мы можем забыть о более серьезных обстоятельствах в этом деле. Швейцарская система наказания сурова. Все еще!

— Как вы говорите, «все еще».

— Мне следует прекратить сеансы, прежде чем это обернется бедой. Конечно же, он сам может отказаться от них, но я так надеялась… Что ж, придется сказать Шварцу, что молоко скисло — это его выражение.

— Я сам все сделаю.

Констанс было неприятно думать о том, что ее заставляют забыть о многообещающей версии поиска — она уже видела, как призрачное письмо медленно теряет свойства реального. Завтра она получит назад свою Библию и попрощается с необычным безумцем, к которому у нее не осталось ни жалости, ни симпатии, так как он, по-видимому, исполнял предназначенную ему роль, ради нее он был рожден на свет. Можно сказать, что в убийстве он превзошел самого себя! Экзистенциалистская формулировка, достойная Левого берега! Того, где еврейский Вавилон

строили Сартр и Лакан[49] с последователями, кишевшими, как мухи на глазах умирающей лошади! У Констанс было много разногласий с Аффадом по этому поводу, его фатальная снисходительность к литературе часто приводила к всепрощению в отношении подлой риторики, по крайней мере так она считала. Свидание странного доктора и Констанс подходило к концу, а мысленное препятствие, не позволявшее Констанс назвать имя Аффада, никуда не делось. Она вздохнула, и египтянин улыбнулся.

— Наверно, вам хочется спать. В Женеве нет сиесты, в отличие от моей страны, так что стоит немного засидеться, и начинает клонить ко сну.

— Прошу прощения.

— Ну что вы!

Египтянин проводил ее до дома по тянувшейся вдоль озера аллее, тихонько беседуя с ней об их пациенте и о планах перемещения его, как он выразился, обратно в роскошную квартиру между мечетями, которая принадлежала ему прежде, до того как современная сложная ситуация изменила баланс сил. В течение недели все юридические вопросы будут улажены, и тогда придет время

---

[49] Примечания: 49

Жак Лакан (1901–1981) — основатель Парижской школы фрейдизма и структурного психоанализа.

позаботиться о безопасном переезде пациента.

— Несомненно, как профессионал вы будете скучать по нему и сожалеть об его отсутствии с профессиональной точки зрения; однако его легко заменить кем-нибудь другим, если подумать. Почти любой премьер-министр любой европейской страны… Что же до него, то он проводит долгие часы у маленького окошка своей новой комнаты, которая выходит на кухню. Он восхищается монахинями.

— Неужели?

— Да. Орден монахинь, давших обет молчания, занимает целое крыло и готовит еду для всей больницы. В кухнях большие окна, и он видит, как они переходят с места на место, готовя еду для здешних обитателей, «как фелуки» (я цитирую), потому что у них на головах высокие накрахмаленные белые чепцы и на черных одеждах белые воротники. Я тоже постоял возле окошка и понаблюдал за ними, потому что проводил Мнемидиса в его палату с любезного позволения Пьера. У них поразительный вид, и из-за своих чепцов они напомнили мне белые лилии, а нашему другу стало любопытно, замолчали они по велению души или следуя *лжи*, рассыпанной по всей Библии, которую он как раз сейчас с жадно-

стью читает. Однако он разумен и хитер, так что вряд ли кто-нибудь может определить, лжет он или не лжет — он и сам не знает. Ужасно! Может быть, это как раз и воздействует на рассудок людей вроде Ницше? Я часто задавал себе этот вопрос.

Странное замечание. Констанс не стала раскрашивать его своими умозаключениями. Но вообще-то до чего удивительные заботы у сумасшедших. Интересно, что побуждает Мнемидиса наблюдать за монахинями, работающими на кухне?

Все имеет свой смысл и свое значение. Напряженный взгляд голубых глаз Мнемидиса был устремлен вовсе не на монахинь в их живописных одеяниях, а на два больших ножа для разделки мяса, которыми монахини деловито резали выданный на день хлеб, прежде чем молча разложить его по желтым корзинкам. Мнемидис вздохнул, когда процедура подошла к концу, корзинки были поставлены на подносы и каталки и отправлены в столовую; он вздохнул, словно очнулся от совершенно захватившей его, словно заколдовавшей, мысли. Собственно, так оно и было. Весь распорядок его дня был ориентирован на появление, словно на сцене, монахинь. Кух-

ни сразу же озарялись ярким светом. К дверям подъезжал фургон, открывалась задняя дверца, и на свет являлись высокие корзинки с длинными батонами. Их уносили в кухню, и монахини, взяв в руки два сверкающих, похожих на сабли, ножа фирмы «Упинал Стил Федерейш» (которые фирма часто дарила в ходе рекламной акции), приступали к захватывающему действу христианского жертвоприношения, разрезая тело Христово на удобные для еды ломти. Если так к этому подходить, то и Слово могло бы наконец стать плотью, как вино — кровью, но это потом. Тем временем ножи поднимались и опускались, блестя на солнце, двигались вперед и назад, что-то внушая ему на уровне перистальтики, пока он не обнаружил, что в глубокой задумчивости теребит рукой мошонку. Глубокая безучастная задумчивость. Счастье представляет собой именно такую сосредоточенность, такое подчинение далеко запрятанной внутри собственной природе. Что может быть невиннее буханки хлеба? Она наверняка не чувствует, как в нее входит нож, как он ровно режет белую плоть. Тем более «упиналы» всегда отличались особой остротой, так как изготовлялись из самой высококачественной стали. Значит, для жертвенного ножа нет стали

лучше этой? Мнемидис почтительно наблюдал, не пропуская ни одной детали. Время от времени он отвлекался от своего занятия и обходил кругом письменный стол, после чего возвращался на место около окна и продолжал сосредоточенно наблюдать за не отпускавшим его зрелищем: монахини режут своего Спасителя. Дай срок…

Кое о чем Констанс знала, но не обо всем; и известие, что Мнемидис теряет терпение и готов к бунту, не на шутку ее встревожило. Хотя ужин с египтянином утомил ее и она была рада тому, что он довольно рано проводил ее домой, заснуть ей не удалось. Не помогло даже снотворное, так что она немножко почитала, а потом поднялась с кровати и отправилась варить кофе — роковое решение. Не заставила себя ждать депрессия, Констанс перестало радовать абсолютно все, что было в ее жизни, — сама жизнь, работа, профессия, будущее… Это было похоже на скольжение по песчаному склону в глубокую яму самобичевания и, что еще хуже, жалости к себе. Констанс это пришлось не по душе. Разложив пару пасьянсов на зеленом карточном столике, она почувствовала, что снотворное начинает действовать. Тогда она решила совершить подвиг и с некоторым сомнением, но все же улеглась в постель, прихва-

тив с собой книжку. Неожиданно она сделала то, что делала очень часто, то есть взяла телефонную трубку и набрала номер, по которому узнавала время. Записанный на пленку мужской голос напоминал голос Аффада, хотя акцент был другой. Минуты две она слушала его, после чего ей стало стыдно и она положила трубку. Однако самобичевание претворилось в йогу, благодаря голосу Макса, звучавшему во сне, который помогал ей с *асанами,* требуя не спешить, когда она как будто принимала ту или иную позу, и на каждой стадии останавливать внимание на соотношении с ничто в сознании, отчасти усыпленном лекарством. Упражнения йоги она выполняла неуклюже и заслужила выговор от старика, однако желанная цель была достигнута, так как внимание Констанс отвлеклось от нее самой — поначалу бессонница всего лишь повышенное и больное самомнение — и она соскользнула в теплую бездну ночи, где не было больше снов. Ее мозг слишком переутомился, чтобы творить их. Больше никаких снов! Констанс спала.

Глава четвертая
Условия освобождения

Уже несколько дней внутри него нарастало беспокойство, и он ощущал постепенно усиливавшуюся настороженность по отношению к внешнему миру — в первую очередь к своему стражу Пьеру, а после него к врачу, красивой женщине, чьи слова звучали гладко и лукаво. Теперь он не сомневался, что она постоянно лгала, основываясь на Черной Библии, которую одолжила ему. Более того, даже ее улыбка была коварной, как мышеловка, — *une souriciére de sourire*![50] Сначала она с помощью лекарств насильно ввергла его в забытье, а теперь требует таинственное письмо. Он по неосмотрительности прочитал его, отметив про себя дату, да и то случайно. В нем было написано: *«à partir de…»*[51] — что как будто не несло в себе значительной информации. Не имело оно отношения и к его собственным проблемам — постепенно нараста-

---

[50] Примечания: 50
Западня для улыбки *(фр.)*.

[51] Примечания: 51
Начиная с… *(фр.)*.

ющим, душащим, медленно превращающимся в холодную ненависть, которая станет основанием для его будущих поступков. Хватит! Она не должна знать, о чем он думает, надо прикидываться добропорядочным, потому что они все христиане и воспитаны в страхе возмездия, вечно ищут нравственного обновления и размышляют в духе жертвенности. Некоторое время, стоило ему заслышать шаги Пьера на посыпанной гравием дорожке, как он немедленно опускался на колени и делал вид, будто погружен в молитву, пока этот Иуда отпирал дверь. Вне всяких сомнений, Пьер докладывал ей об этом. Мнемидис внимательно наблюдал за ее реакцией, когда дурно отзывался о хорошей книге; позже он собирался сделать вид, будто изменился, уверовал в конце концов. Наверно, тогда она не будет такой настороженной, станет беспечнее. Ему уже было ясно, как много сил потребуется, чтобы одолеть Пьера во время прогулки среди деревьев. Негр и вправду был здоровенный, как дом, однако это не казалось Мнемидису столь уж важным, так как ему было не занимать проворства и он изучал джиу-джитсу. И еще он не знал страха, а благодаря умению целиком посвящать себя чему-то одному, обретал силу льва. Мнемидис

чувствовал, как страстное желание бежит по его телу, словно электрический ток. В его планах лишь один пункт оставался пока неясным. *L'arme blanche*,[52] как в выразительной французской фразе — опасный нож, без которого не выразить себя. Дома, в Каире, у него на стене висела целая коллекция великолепных ножей всех размеров, с которыми он прилежно тренировался. При желании он мог со змеиной молниеносностью метнуть нож в цель или ударить им. Никаких проблем. Оставалось только продумать детали.

Воспоминание о Каире было новым фактором в его сознании, новым обещанием жизни и свободы. Мысли о будущем наполняли Мнемидиса радостью. Какое счастье сменить скучную серую Швейцарию на блестящий Каир его юности — сердце пело у него в груди! А в качестве прощального подарка, *pour-boire*,[53] так сказать напоследок, он оставит один-два ножевых удара в своем лучшем стиле. Это будет его последним «прости» стерильному миру врачей, священников и полицейских. Кем, с их позволения, он был? А ведь он — *Мнемидис, единственный*

---

[52] Примечания: 52
Холодное оружие *(фр.)*.

[53] Примечания: 53
Чаевые *(фр.)*.

и неповторимый в своем роде. Старый Б., врач, обычно подшучивал над этим его утверждением, но что правда то правда. Обычно Б. говорил с насмешкой: «А теперь скажите, кем вы себя представляете. Воображаемым Человеком, Маргинальным Человеком, Счастливым Человеком, Самодостаточным Человеком, Человеком из Параллельного Мира…» И он отвечал: «Нет, нет и нет. Я — воплощение Первого Человека. Я совершенен в своей святости, потому что мне неведом Страх!» Когда он это говорил, то как будто видел свое сознание висящим над ним в воздухе — сверкающим, мерцающим, светящимся — самосовершенствующийся шар небесного света, пульсирующий и парящий в атмосфере чистого сияния, которой он принадлежал как земное орудие. Он был чистым духом совершенного Действия! И все это он осознал в тот день, когда еще подростком задушил мальчика-бедуина, пришедшего к ним в дом просить работу. Бесшумно, но ярко, словно большой рубин, тайное желание сверкнуло в его сознании. И он отделил себя от остального человечества.

Итак, мысль о Каире внесла новую ноту в размышления Мнемидиса, его очень разволновало неожиданное появление на сцене старых парт-

неров, пообещавших ему свободу. Более того, когда они заговорили с ним по-арабски, первым это сделал врач, Мнемидис ощутил себя обезоруженным, ему показалось, что он не в состоянии хранить в тайне свои чувства, особенно неодолимое желание покончить со Швейцарией. Однако врач потребовал от него уступчивости, терпения и бдительности; поспешность могла свести на нет все шансы на спасение. Надо было заполнить бумаги, проконсультироваться с разными людьми. Тем не менее, если честно, то, поняв, что его постоянно травят, он едва сдерживал нетерпение и отчаяние. Еле-еле сдерживал.

Не мог он не заметить, что его тюремщики с удвоенным вниманием наблюдают за ним, за его камерой и немногими пожитками, которые каждый день дотошно осматривал Пьер, не упускавший ни одной мелочи, словно хотел все запомнить, и напевавший себе под нос во время досмотра. У этого человека была власть! Мнемидис громко скрипел зубами, чувствуя, как на висках напрягаются и расслабляются мышцы. Ему помогало то, что он знал, — оставалось недолго, происходящее двигалось по спирали, причем все быстрее и быстрее, приближая катарсис как действие.

Интуиция не подвела Мнемидиса, и вскоре, когда он явился на очередной сеанс, неприветливый Шварц сообщил ему об окончании долгого лечения.

— Мне известно, что вы высказывали недовольство лечащим доктором, и, идя вам навстречу, я предложил ей заняться другим больным. После возвращения из отпуска ее будет ждать другая работа. Надеюсь, это удовлетворит ваше чувство справедливости.

Шварц признал поражение, умело подсластив пилюлю, и пациент улыбался во весь рот, неожиданно осознав себя победителем; он потирал руки и кланялся. Но потом его лицо опять потемнело из-за вновь накатившей волны сомнений, так как ему пришла в голову мысль, что они снимают с себя всякую ответственность за него; в конце концов, вред уже нанесен. Яд распространился по всему телу, а они толкуют об отказе от него. Нет, так не пойдет, так не пойдет!

— Очень хорошо, — проговорил Мнемидис, глядя с затаенным презрением, — а как насчет того, через что я прошел, как насчет ваших допросов, потерянного времени… как насчет этого?

Шварц вздохнул и терпеливо произнес:

— Надеюсь, вы скоро обо всем забудете. Завтра

или послезавтра вас передадут властям, и они организуют ваше воссоединение с друзьями, а также возвращение на родину. Это должно вас радовать.

Мнемидис облизал губы и спросил, правду ли говорит доктор.

— Естественно, правду, — отозвался Шварц, позволивший себе едва заметный намек на веселье.

Словно подтверждая слова доктора, пришли друзья Мнемидиса с добрыми вестями. Переговоры о передаче Мнемидиса египтянам уже начались, юридических препятствий как будто нет, через неделю, от силы десять дней будут получены нужным образом оформленные бумаги, и автомобиль Красного Креста отвезет его в аэропорт, где будет ждать специальный самолет, готовый вылететь в Каир. Это было как во сне, но Мнемидис расстроился и заплакал, потому что радостная новость пришла слишком поздно. Так легко они от него не отделаются, и в первую очередь женщина. Все это было ее идеей, хитроумные допросы она придумала, чтобы посеять в нем сомнение в самом себе. Ночью он обмочился в постели. Его одолели невероятные сны и захватывающие видения, словно он опять стал

божественным ребенком, чье сознание освещала, как лампада, некая цель. Сперва язык распух у него во рту, словно раздувшаяся гадюка, а потом отекло горло. Мнемидис проснулся поздно готовый на все. У него появилась уверенность, будто его час пробил, хотя детали он еще не продумал до конца; ничего, с этим успеется.

Когда такой тонкий знаток берется совершить зло, сам дух зла приходит ему на помощь. В данном случае свое дело сделала швейцарская мания, появившаяся из-за незначительной детали, сыгравшей роковую роль. Еще прежде чем посетитель ушел, Мнемидису стало ясно, что предстоит волокита с документами, без которой невозможно обойтись, следовательно, будет долгая изнурительная серия анализов крови, тестов для определения состояния его нервной системы, энцефалограмм и кардиограмм… От канители практической науки никуда не деться, если хочешь вновь оказаться в мире случайного, непредвиденного убийства. Ему пришлось дышать в трубки, глотать разные жидкости, стоять на одной ноге, опускаться на колени и поднимать тяжести. Терпеливо и послушно Мнемидис проделывал все это в ожидании, когда перед ним откроется дверь. Покорно, как агнец, он

переходил из лаборатории в лабораторию под присмотром Пьера, которого полюбил как брата. Тем не менее, теперь он был внимателен как никогда, подмечая, как устроены замки, где есть болты и решетки, однако заветный момент все не наступал, никто не шептал ему втайне на ухо: «Пора! Час пробил!» Но если не считать этого, то перемены и передвижения освежающе действовали на человека, страдавшего из-за очень долгого заключения.

Последнее из исследований было самым простым, и обычно его проводили сразу же, стоило попасть в больницу. Это происходило в отдельном отсеке, где была раздевалка со стульями и шкафчиками со всех сторон, передвижными ширмами и душевыми кабинами. Здесь измеряли рост, вес и такие важные показатели, как сложение, объем груди и бедер. В коридоре, который вел в это помещение, располагались доски для записей и туалеты, а в конце были просторные столовые и несколько кухонь. Как раз в этом отсеке и зазвучал магический голос, который определил дальнейшее поведение Мнемидиса.

Чтобы снять с себя больничный халат из приятного зеленого твида с длинными, как на смирительной рубашке, рукавами, а также шер-

стяную фуфайку, Мнемидис зашел за ширму, а Пьер, уважая чувства человека, «рожденного джентльменом», остался снаружи. Вскоре отдельные части туалета уже висели на ширме, и Мнемидис, раздетый по пояс, выглядел до странности застенчивым и в то же время игривым. Проигнорировав поджидавшие его весы, он обеими руками нанес удар своему тюремщику, застав того врасплох, тотчас бросился к двери в коридор, запер ее и был таков — теперь он шагал медленно, с оглядкой, зная, что неторопливая походка не привлечет внимания — а тем временем проход между раздевалками и уборными вел его к кухне. Нельзя сказать, что Мнемидис досконально продумал план действий; скорее, он действовал как безумец, положившийся на инстинкт. Время от времени его слепили вспышки, напоминавшие летние зарницы, и он закрывал глаза. Потом до него донесся голос Пьера, который изо всей мочи колотил в дверь, но его это совсем не испугало. Им владела абсолютная уверенность в себе. Его направлял нечистый дух. Важно и старательно Мнемидис осматривал помещение за помещением, запирая за собой одну дверь за другой, пока наконец не оказался в просторной кухне, где не было ни души. Он остановился, огляделся, с

удовольствием полюбовался солнечными зайчиками на чистой кухонной утвари, расставленной на полках вдоль стен. Швейцарская безупречная чистота в просторной кухне, в которой не приживается ни один микроб. Пахло больницей и чистотой, чистые вентиляторы фильтровали поток воздуха. Однако Мнемидис искал здесь нечто определенное, и у него не было времени любоваться тем, что его окружало. Из окна он увидел на другой стороне двора… где это? Сделав мысленные подсчеты, он изменил направление. Ну да, корзины с хлебом и оловянная посуда на стене были на другой стороне, и, наверное, там же должно было быть то, что он искал? Там!

Он нашел, что искал, — безупречно чистые, как и все остальное, ножи!

Мнемидис чувствовал, как неостановимая волна радости омывает его тело изнутри, и вознес хвалы своему Создателю; он даже соединил ладони перед собой и благодарно потряс ими, как настоящий христианин. После этого, крадучись, улыбаясь, счастливый, он взял один нож, потом другой, изведал острое чувство наслаждения, держа их в руке, уже ощущавшей в себе неизбежное будущее, подобно яйцу. В эту минуту вращающаяся дверь в конце кухни крутанулась и пропустила

монументальную фигуру Пьера, который казался изумленным, потому что ничего подобного с ним прежде не случалось и он не представлял, как такое могло произойти. Более того, Мнемидис был голым по пояс, и его нельзя было ухватить за рукав, развернуть и укротить. Великан вдруг сообразил, что его власть над людьми, вообще его власть держалась, в основном, на привычке, и отсутствие рукава озадачило его и привело в замешательство. Да и Мнемидиса он никогда прежде не видел таким — счастливым, излучающим радость и торжество. Он предложил Пьеру поиграть в кошки-мышки и сделал это по-доброму, потому что в самом деле любил и уважал человека, делившего с ним его одиночество. Спрятав руку с ножом за спину, другой он подзывал Пьера, дразня его и веселясь, а, когда тот приближался, убегал от него, пятясь и кружа, показываясь и вновь прячась между раковинами и шкафами. В каком-то смысле, они исполняли медленный и сложный балет. Проходя по кухне в жутком тустепе, Пьер знал о ноже и отлично сознавал грозившую ему опасность, если вдруг у его подопечного изменится настроение. Ему тоже было бы неплохо вооружиться и попытаться обезвредить безумца, ударив его по голове,

например, сковородкой, однако Пьер предпочел сохранять терпение, чтобы не спровоцировать у безумца вспышку агрессии. Он был спокоен и уверен в себе и старался лишь не попасть под нож Мнемидиса. Более того, пока они так танцевали, время шло, рано или поздно кто-нибудь придет на кухню, и тогда Пьер сможет позвать на помощь. Куда подевались сестры? Где другие служащие? Казалось, в этом отсеке не было ни единой души. Двое мужчин продолжали кружить вокруг друг друга, как две проклятые планеты по орбите — планеты, вовлеченные в гравитационную игру, которая могла закончиться только столкновением!

Пока еще ни Пьер, ни Мнемидис не чувствовали усталости, и если бы кто-нибудь видел их теперь, то подумал бы, что их синхронные движения — результат долгой репетиции. Однако в безумии Мнемидиса был метод, если так можно выразиться; некоторое время назад он заприметил полуоткрытую дверь, которая вела в кладовку, где висели фартуки и платья монахинь и стояли корзинки, ведра, короче говоря, было много всякой всячины, и двигался так, чтобы его тюремщик оказался в конце концов спиной к этой двери, — это было все равно что загонять

шар в лузу. Вот тут-то он набросился на «малабара», употребив всю свою силу и из самой глубины души изрыгая ругательства, эхом отозвавшиеся по всей кухне. Волей-неволей, под угрозой ножа, «малабару» пришлось отступить, и, еще ничего не поняв, он оказался в кладовке, прижатый спиной к стене, к платьям. Пока чужая рука сдавливала ему горло, он напрасно терял силы, беспорядочно размахивая мощными руками и стараясь схватить противника, который был гораздо ниже его ростом, за плечи. Мнемидис принялся, как опытный повар, наносить Пьеру продуманные точные удары ножом, и хотя «малабару» его движения казались вялыми, медленными, на самом деле Мнемидис двигался с поразительной быстротой и наносил удары на редкость прицельно. При этом он пристально, едва ли не сладострастно смотрел в лицо своей жертве, словно это был измерительный прибор, который должен показать, насколько удачным было нападение. В таком положении, в котором оказался «малабар», негры не бледнеют, а розовеют. Услыхав стоны великана, Мнемидис подался к нему, а про себя подумал, что его действия похожи на кромсание длинной портьеры. Теперь оба тяжело дышали, но Пьер в изнеможении надувал щеки, и его

легкие слишком быстро наполнялись воздухом и опустошались, как будто он в рекордное время пробежал стометровку.

Продолжая «любовное» кромсание, Мнемидис держал Пьера и всматривался в его лицо, уже бескровное и, несмотря на отсутствие воздуха, безмятежное — это была та безмятежность, которая предшествует неминуемой смерти. Для Мнемидиса это была настоящая услада, и бледность противника доставляла ему наивысшее удовольствие, когда он, поддерживая Пьера в положении стоя, с нежностью всматривался в него. Наконец он отступил и осторожно отпустил покачивавшегося великана, стараясь поуютнее устроить его под висевшей одеждой. Наверное, Пьер быстро терял кровь, но он продолжал стоять, слабый и в то же время властный, и протягивал вперед руки со скрюченными пальцами, уже не достающими до противника. Судя по выражению лица, он был поглощен собственными ощущениями, пытаясь понять, что с ним происходит, возможно, определить, сколько он уже потерял крови и сколько продолжает терять — он чувствовал, как незаметно и предательски она вытекает из него. Он терял кровь, да, он терял *кровь.* Пьер застонал, и Мнемидис, словно ему подали сигнал,

отступил на шаг и закрыл дверь кладовки, предоставив Пьеру дрожать всем телом среди одежды.

Милостью Создателя в кухню все еще никто не заглядывал, она принадлежала безумцу, который, испытывая страшную жажду, долго пил из крана, после чего аккуратно вытер кровь с ножа. Потом, расправив плечи, Мнемидис стал искать что-нибудь, чтобы прикрыть свою наготу, чтобы спрятаться, потому что происшедшее было лишь началом его приключений и ему еще многое предстояло совершить. Откуда-то из подсознания явилась мысль о поварском колпаке, белом халате булочника или врача, но больше ему пришлась по душе другая маскировка. Некоторые монахини, занятые на тяжелых работах, например на стирке или мытье полов, имели обыкновение оставлять свою одежду и головные уборы в соседней с кухней комнате, дверь в которую была открыта. Ему едва удалось сдержать рвавшуюся наружу радость, когда он обнаружил три-четыре одеяния, из которых мог выбрать подходящее для себя; все накрахмаленное, особенно чепцы. Вот так бутафория! Высокий головной убор был похож на лилию, и Мнемидис надел один, чтобы поглядеть, как он в нем выглядит. Его потрясло собственное лицо, которое казалось пугающе

спокойным, но в глазах поблескивал вполне разумный огонек, и уголки рта приподнимались в едва заметной улыбке. Никогда прежде он не замечал ямочек у себя на щеках и теперь, чтобы получше их рассмотреть, раздвинул губы в широкой улыбке. Ямочки как будто пришли из детства и неузнаваемо меняли лицо, обрамленное белым монашеским шлемом. Однако головной убор показался Мнемидису великоватым, поэтому он примерил еще три или четыре, прежде чем выбрал подходящий. То же самое он проделал с похожими на занавески платьями монахинь. Действовал он быстро, потому что откуда-то из глубин здания до него уже доносились приглушенные удары, словно исколотый ножом, валявшийся в кладовке Пьер нашел в себе силы позвать на помощь.

В зеркале отражалось лицо пожилой монахини, на котором проявились тайные грехи, лицо притворщицы и ханжи с жутким пламенем в глазах. Эта монахиня много чего познала и ни от чего не отреклась. Эта монахиня была готова на все. Мнемидис едва удержался, чтобы не крякнуть от удовольствия, когда вылез из раздевалки и пошел по главному коридору, опустив голову, словно в глубокой задумчивости, и медленно пе-

редвигая ноги, чтобы не привлекать внимание. Он сосредоточенно следил за указателями, торжественно шагал мимо них, а потом точно так же самоуверенно направил стопы в рощицу, где каждый день гулял с Пьером. Тут он ускорил шаг, почти побежал, чтобы быстрее приблизиться к небольшому зданию, где работали психиатры. Каким-то чудом кабинет доктора Шварца оказался пустым, как и приемная женщины-врача — ее-то ему больше всего хотелось увидеть. Он сел и стал думать. Возможно, если он подождет, они придут, или придет кто-нибудь один? Лучше, чтобы пришла женщина.

Мнемидис сел во вращающееся кресло Шварца и надолго задумался; он стал вспоминать, что произошло, — события последнего часа, — желая выработать линию поведения, наиболее подходящую для его цели. Адреса двух египетских друзей прочно отпечатались в его памяти, и как только он покончит со здешними делами, сразу же позвонит в отель, отыщет их там, отдаст себя под их защиту в надежде, что еще хватит времени претворить в жизнь план бегства и вернуться в Каир. Так он сидел, обдумывая предстоящее и вертя в руках тяжелые ручки кухонных ножей — он поддался искушению и забрал оба. Довольно

неудобно иметь сразу два ножа, но у обоих были тяжелые кожаные ножны с отличными ремнями, так что не составляло труда повесить их на пояс штанов. Длинное платье было еще и очень широким, так что отлично скрывало фигуру. Это не только пришлось по вкусу Мнемидису, но и разволновало его, потому что напомнило о карнавалах в Александрии. Чем не черное домино?… Однако… он вскочил и упрекнул себя за пустую трату драгоценного времени, пора было идти в город и выполнять задуманное. На монашеском одеянии имелись два больших внутренних кармана. В одном лежали четки, а в другом — билеты на *fête votive*[54] в деревне на берегу озера. Еще он отыскал батистовый носовой платок, которым можно было при необходимости прикрыть лицо. Плохо, что врачей не оказалось на месте. Мнемидис ощутил сожаление. Неужели придется покинуть приемную, не оставив в ней, так сказать, своей метки, своего рода послания. Так что? На столе Шварца он заметил яблоко на тарелке — скромный ланч аналитика, сидевшего на диете и старавшегося сбросить вес. Хохотнув, Мнемидис из чистого озорства разрезал его пополам.

---

[54] Примечания: 54
Храмовый праздник, праздник местного святого *(фр.)*.

Потом он припустился по рощице, замедляя шаг лишь когда выходил на открытое пространство возле парадного подъезда и в ухоженных садах с клумбами, где он полз, как улитка, принимая задумчивый вид, как это обычно делают монахини, перебирая на ходу четки в молитвенном единении со Спасителем. К этому времени, как он считал, уже следовало чему-нибудь происходить, по крайней мере должны были с криками бегать люди, хоть это и неприятно, но ничего не попишешь. За Мнемидисом часто гнались, и он умел пользоваться обстоятельствами. В тишине же он усматривал перст судьбы, так как его миссия все еще оставалась невыполненной. Нахмурившись, он сосредоточенно зашагал в сторону парка и главных ворот. Мнемидиса не удивило бы, если бы уже подняли тревогу и охранники получили бы по телефону приказ никого не выпускать за территорию больницы. Но, как ни странно, все было спокойно. Уже больше часа прошло с тех пор, как Пьер выпал из кладовки и лежал в луже крови, от которой бежал ручеек, непременно привлекший бы к себе внимание, если бы кто-нибудь оказался поблизости. В комнате охранников все было как всегда. И опять новоиспеченную монахиню ждала удача. Прямо за воротами был

припаркован готовый в любую минуту тронуться с места фургон булочника, который привез хлеб на день. Водитель, румяный юноша, проверив уровень масла, опускал капот. У охранников выходившая за ворота монашенка не вызвала особого интереса, и они лишь мельком взглянули на Мнемидиса, шедшего мимо их окошка. Он же прижал ко рту платок, словно у него простуда, и сиплым голосом спросил у юноши, не едет ли тот в город и не подвезет ли его на *fete votive,* на который у него имелись два билета. Юноша почтительно пригласил Мнемидиса в фургон, и тот, сев рядом с ним, стал устраиваться поудобнее, обрадованный легкостью, с какой он обманул всех и выбрался из тюрьмы. Это был его лучший побег — никогда еще ему не удавалось так по-умному, не вызвав шума, исчезнуть. Подавив искушение засвистеть, Мнемидис сипло поинтересовался у юноши, ходит ли тот в церковь, и если ходит, то в какую? «Я католик», — услыхал он в ответ.

Мнемидису придавала смелости надежность его маскировки — он и в самом деле был похож на пожилую монахиню в несколько игривом настроении. Однако он внимательно следил за тем, чтобы его голос звучал сипло, словно из-за сильной простуды. Так как чувствительный

юноша продолжал по наивности рассказывать о своих религиозных убеждениях, то благочестивая сестра обняла его за плечи в религиозном порыве. Потом она спросила, не мучают ли его по ночам недостойные мысли или сны, или… желания. И ее рука, легко скользнув вниз, погладила его бедро. Юноша не мог не покраснеть, у него перехватило дыхание — он был взволнован этой почти невинной лаской. А Мнемидис продолжал сипло разглагольствовать о том, как трудно молодому человеку спать по ночам, когда его преследуют химерические видения еще не изведанных удовольствий. Неужели ему тоже иногда не?… Юноша уже был взволнован не на шутку, у него даже щеки стали багровыми. В самом деле, не имея сексуального опыта, он терял самообладание из-за вопросов монахини. Да и что ему было говорить? Он почувствовал, что не может выдавить из себя ни звука, когда скользившая по его телу рука явственно выдала намерение монахини не сдерживать сексуального порыва. Зато сестра во Христе не умолкала ни на минуту, пока ее ласки становились все определеннее и настойчивее. Наконец она властно приказала юноше съехать с дороги в лесок, который появился как нельзя вовремя, и там состоялось совращение.

Юноша был смущен, испытывая одновременно сексуальное возбуждение и стыд. Потом он все же доставил свою пассажирку по приозерной дороге к воротам парка, где люди собирались к *fete votive,* на который у нее были билеты. Разыгрывая ханжескую скромность, Мнемидис попрощался, и юноша, радуясь освобождению от странной попутчицы, постарался побыстрее уехать.

Эта встреча была тем ценнее для Мнемидиса, что придала ему уверенности в себе. Она не спровоцировала любопытства и прибавила ему самоуважения. Мнемидис даже рискнул подойти к полицейскому, стоявшему у ворот, и спросить у него, который час. Тот в смущении отпрянул от монахини, почтительно поздоровался с ней и ответил на вопрос. Итак, все в порядке. Со вздохом облегчения Мнемидис разрешил себе насладиться жизнью. Он прогулялся по аллеям, посетил выставку цветов в оранжерее, даже помог судить соревнование, написав свое мнение на листке бумаги и опустив его в ящик возле выхода. Потом отправился в другой конец парка, где посмотрел представление с Панчем и Джуди, показавшееся ему очень увлекательным. Он уже успел подзабыть, какими прекрасными бывают лица детей, когда те поглощены происходящим

на сценической площадке. Тут можно заранее определить, каким станет ребенок, когда вырастет; достаточно заглянуть ему в глаза и мысленно наделить его своим интеллектом, и становится совершенно очевидно, что получится из малыша со временем. Мнемидису понравилось это упражнение, когда он, словно листая энциклопедию, всматривался в ребячьи лица. После этого был концерт, в основном романтической музыки, и его чуть не до обморока разволновали мелодии Штрауса и Делиба. Мнемидис вертел головой из стороны в сторону и закрывал глаза от удовольствия. Одновременно он нежно проводил пальцами по ножам, которые пока мирно прижимались к его бедрам.

У Мнемидиса было сколько угодно времени, по крайней мере, так ему казалось. И он мог позволить себе не спешить. Но когда его взгляд упал на телефонную будку, он немедленно вспомнил, что пока еще не знает точного адреса Констанс. Вскоре он отыскал его в разделе торговли и медицины и прочитал два раза, чтобы получше запомнить.

К ней он отправится, когда почувствует себя готовым совершить возмездие, ведь эта женщина дурно обращалась с ним как морально, так и физически. Мнемидис закрыл глаза, старательно

запоминая адрес Констанс.

Глава пятая
Возвращение

Вернувшись после своего сравнительно недолгого отсутствия, Констанс поняла, что в ее маленьком кругу не все по-прежнему. Неизменными были «одиннадцатичасовки» Тоби и Сатклиффа, однако компания «биллиардистов», как их окрестил Сатклифф, уже грозила превратиться в неформальный клуб, пополнившись новыми членами. Блэнфорд перебрался в инвалидное кресло с откидывающейся спинкой, которую он мог регулировать сам, если уставал или хотел поспать. Он обнаружил, что обстановка в клинике как нельзя лучше подходит для работы, а также что с Сатклиффом лучше спорить, когда он не очень сосредоточен и позволяет своим мыслям витать где-то далеко, не ожидая коварного выпада. Как ни парадоксально, самые интересные идеи приходили ему в голову, когда он думал о чем-то другом — они словно сами по себе сваливались на него неизвестно откуда: все художники испытывают нечто подобное, получая озарения как счастливый дар из внешнего пространства. К

«биллиардистам» присоединился Макс, который странным образом чувствовал себя одиноко в Женеве и был рад возобновить старые знакомства. Он отлично играл в пул и, хотя стал йогом, не очень-то изменился, поэтому над ним добродушно подшучивали, а он был очень застенчив, всегда был таким, несмотря на крикливую униформу, придуманную лордом Галеном. Старый, мрачный, обветшавший бар обрел новую жизнь. Одряхлевший старик, которому было не под силу вести дела, позвал на помощь племянницу или невестку, тотчас предложившую съедобные блюда и лучшие марки виски и джина, чтобы завлечь посетителей. И это не замедлило дать плоды. Среди новых завсегдатаев были два секретаря, работавшие на Тоби, и даже Райдер, начальник Сатклиффа, который после несчастного случая с женой стал довольно много пить. Более того, он испытывал трепет, как он сам заявлял, перед все чаще встречающимися «артистами», тогда как сам он представлял собой «обыкновенного примитивного чиновника». Стоило ему заговорить о своих сомнениях, как Сатклифф грубо обрывал его. — Неправильное слово, правильно — *аутисты.* Мне известно, что животное не обучено приличным манерам и понятия не имеет

о высокой культуре, тем не менее, оно готово мириться со своей вульгарностью. В положении *парвеню* есть свои преимущества, его не очень-то подпускают к себе люди, которые отравлены избытком культуры. На самом деле, бедняга художник, что старый пердюжник, принадлежит к вымирающим особям, и ему требуется уют некоей резервации. Его вознаграждения хранятся в тайне. Он принадлежит к Безвольному Меньшинству!

— О Господи! — в отчаянии произнес старый солдат. — Ну кому нужны подзаголовки?...

Но так плохо было не всегда, и обычно он утешался обществом вполне земного Феликса Чатто, который пронюхал об этих утренних неформальных сборищах и украшал их своим присутствием несколько раз в неделю. В Женеве не хватало по-настоящему приятных компаний, собиравшихся в неофициальной обстановке, а как раз это предлагал маленький прокуренный бар, несмотря на свою внешнюю ординарность и даже уродство. Да и уменьшавшееся в воздухе напряжение тоже было знаком того, что долгая военная агония близится к концу. В городе начали появляться новые типы организаций — военные, шпионские, подрывные организации сменились другими,

призванными восстанавливать мирную жизнь. Слабая тень этой новой жизни расцветала среди руин. Но до чего же все были измучены. (Так думала Констанс.) Даже те, кто как будто ничего не делал, были поражены внешне незаметным нравственным истощением, неотделимым от войны. Ч до самой Констанс, то она ощущала и эту тяжесть, и тяжесть тех испытаний, которые ей с немыслимыми трудностями и сомнениями пришлось выдержать. А теперь в воздухе уже носились перемены, все вокруг распадалось, становилось другим. Скоро, мысленно говорила она себе, опять собираться в дорогу, в какую-нибудь дальнюю страну, воплощать в жизнь очередной проект. Останавливала лишь мысль о возвращении Аффада.

Сказать «останавливала» было бы не совсем правильно, так как в глубине души, где таилась ее любовь к этому человеку, она понимала, что далеко не все благополучно, но не знала, как с этим справиться; ведь то, что происходило, напоминало разрыв в электрической цепи и требовало внимания с обеих сторон. А если они далеко друг от друга? В этом-то и загвоздка. Чтобы разогнать тоску, Констанс стала больше времени проводить с Блэнфордом, бывало, всю вторую половину дня

она болтала с ним, сидя на балконе или расположившись в кресле возле его кровати. Время от времени к ним присоединялся громоздкий Сатклифф, которому надоедало мокнуть в тумане на набережной. Было забавно слушать, как они бесконечно обсуждают «двойной концерт», то есть их роман, названный так Блэнфордом, который очень серьезно относился к форме романа и с неудовольствием воспринимал шутливые предложения Сатклиффа, например, придать ему вид переписки и посмотреть, насколько он от этого выиграет.

— А почему бы вообще не писать задом наперед? Тогда вы подписывались бы как ОРЕПСОРП, а я как НАБИЛАК. Для Просперо и Калибана это как обратная сторона луны, а мы все-таки более или менее контролировали происходившее. То есть Реальность, или ТСОНЬЛАЕР. Прибавить непроизвольных смешков и побольше сочных диалогов типа: «Ударим по пуншу, Подснап,[55] — то есть ПАНСДОП? Не возражаете, старина? Да плевать вам на это!» В таком *enanteiodromion,* когда все будет читаться наоборот, сама наша книга будет противоречить замыслу, более того, будет

[55] Примечания: 55

Персонаж романа Ч. Диккенса «Наш общий друг». Непогрешимый человек.

привлекательной лишь для чистых лингвистов с их грамматическими разборами во сне.

— Пожалейте читателей, — взмолилась Констанс. — В этом есть что-то нездоровое, шизоидное.

— Я умышленно выворачиваю роман наизнанку, как рукав, — сказал Обри.

— Тогда вернемся к началу, — предложил Сатклифф.

— Вернемся.

— Я вступал в отношения с такими людьми, как вы, даже намного хуже. Увы, безуспешно. А вырос я на простой пище, например на Айвенго и Прусте, который получал удовольствие от классически точной формы…

— Это Культура, — произнес Сатклифф в высшей степени укоризненно. — Или, если для вас предпочтительнее, АРУТЬЛУК. Понимаете, нас никогда не интересовал реальный мир — мы смотрим на него сквозь облако неверия. В ЕЛАЧАН было ОВОЛС!

Он постарался произнести это как можно таинственнее, а потом пояснил, что последняя фраза означает «В начале было Слово».

— Итак, мы возвращаемся в культурный мир, так? — спросила Констанс. — Кстати, не мы одни.

Лорда Галена не меньше нашего волнует слово.

— Знаю, — отозвался Блэнфорд. — Он приходил ко мне, чтобы побеседовать об этом. Но сначала позвольте мне рассказать о моем слуге Кейде, который встречает его в городе по ночам, когда тот рыскает в поисках добычи. Когда Кейд глубоко задумывается, у него на лице появляется удивительное выражение, как на скульптуре «Ромул и Рем — основатели Рима», правда, я забыл имя автора. Такое же напряженное. Потом он откашливается и спрашивает: «Сэр, можно мне сказать?» Если я киваю, то он говорит: «Вчера вечером я опять видел *его*». И замолкает. «Кого?» — спрашиваю я. «Лорда Галена, — отвечает он с хитрецой. — Он был в одном доме. Там смеялись над ним. Спрашивали, вправду ли он лорд, потому что он называет свои яйца «фамильной ценностью». Конечно же, я подтвердил, ведь не будь он лордом, не страдал бы так от своей немощи. А ведь все еще надеется на сына и наследника. Думаю, я был прав, я правильно поступил». «Кейд, ты поступил правильно». — «Благодарю вас, мастер Обри».

— Надо попросить Тоби, пусть сводит его в ресторан к швейцарским извращенцам, где подают жареный виноград, чтобы расшевелить посети-

теля. А он действительно страдает из-за своих «фамильных ценностей»?

— Да нет. Просто этого требует его культура. И по-человечески очень трогательно. Ему было сказано видеть человека, каков он нагишом!

В этом была большая доля правды, что подтверждалось последним и наиболее известным назначением лорда Галена.

Потом он сам бочком вошел в больничную палату Блэнфорда, точь-в-точь Призрак оперы[56] с черными провалами вокруг глаз. Когда он начал рассказывать о своих расстроенных чувствах, то немного задыхался и был заметно не в себе.

— Обри! — воскликнул он, и при этом у него подозрительно задрожала нижняя губа. — Я уверен, что должен попросить у вас совета, и надеюсь, вы располагаете временем, чтобы выслушать меня. Понимаете, Обри, в моей профессиональной жизни я оказался на распутье.

Усевшись на стул, он поставил на пол у ног портфель с книгами и стал обмахиваться шляпой, словно желая погасить сжигавший его огонь.

— Ну, конечно, дорогой лорд Гален, — ответил Обри с неожиданным приливом сочувствия и

---

[56] Примечания: 56
Намек на персонаж романа «Призрак оперы» Гастона Леру.

протянул ему руку, которую тот с жаром схватил и пожал. — В чем дело? Что у вас случилось?

Гален подождал, пока у него восстановится дыхание, и только после этого принялся рассказывать.

— Сегодня, Обри, — произнес он в конце концов, — я на вершине дерева, у меня самая лакомая работа, какая только может быть. Я — координатор координируемых культур! — Он подождал, чтобы до Блэнфорда дошел смысл сказанного. — Однако у меня никак не получается объяснить, что такое культура, что *значит* слово, за которое я теперь отвечаю. Мне известно, что меня считают образованным человеком, и все такое. Но, представьте, мне надо составить отчет о будущем европейской книги, например, ибо у нас под контролем вся бумага. Кто-то должен решать, что полезно для нашей культуры и что нет, и этот кто-то — я. А как мне решать, если я не понимаю значения слова «культура»? Тем временем мне со всех сторон несут «краеугольные камни», как они это называют. «Вы должны включить это в ваши рекомендательные документы, это *краеугольный камень»,* — говорят все, и я оказался в окружении *краеугольных камней.* Некоторые же… никогда в жизни я не был в такой ярости. — Он порылся

в портфеле и достал «Улисса» Джойса. — Обри! Скажите честно, что вы об этом думаете? Это — *краеугольный камень?*

— Мне понятны ваши сомнения, — отозвался Обри, припоминая скабрёзные страницы в шедевре Джойса, однако, к его удивлению, Галена потрясло совсем не это.

— Никогда не читал ничего более антисемитского. Здесь столько *ненависти.*

Обри никогда не задумывался об «Улиссе» с этой точки зрения.

— То есть? — озадаченно переспросил он.

— Если, как мне говорят, самым ранним краеугольным камнем был Гомер с его героем Улиссом, мудрым и воинственным путешественником, так сказать, человеческим духом Европы, то почему в этой книге Гомер совсем не такой, почему надо было писать подобную сатиру? Если верить Джойсу, то современный Улисс — дублинский презренный еврей с мерзким характером и совершенно безнравственный. А его жена и того хуже. К чему же пришла наша цивилизация?…

И лорд Гален произвел звук, который во французских романах фонетически выражен как *«Pouagh!»*

Налив себе крепкий виски, он сделал нетер-

пеливый жест, словно призывая небеса или, возможно, тень Джойса разобраться в возникшей дилемме. Что до Блэнфорда, то его привело в восторг такое отношение к книге, единственное в своем роде, и он замер, восхищенный и удивленный прозорливостью, на которую оказался способен такой человек, как лорд Гален. Недолго думая, он ухватил суть и выдал схему, которая вполне могла бы удовлетворить даже такого культуролога, как Шпенглер. Европейский Человек в качестве веселого изобретателя Улисса, стойко державшегося, пока Панург[57] не перехватил инициативу и история не зажила новой жизнью. Потом дионисийская мощь понемногу иссякла и установились Шпенглеровы закат и разделение. Огнедышащие вулканы дымят такими именами, как Ницше, Стринберг, Толстой, однако корабль тонет с кормы… лорд Гален плывет в небесах с раскинутыми руками и кричит в растерянности: «Наша культура! Что это такое? Пусть кто-нибудь скажет мне». В его руке еще один «краеугольный камень», еще один ядовитый антисемитский анализ европейской культуры с уклоном в материализм и неизбежную эксплуа-

[57] Примечания: 57

Панург (плут — *фр.)* — персонаж романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле.

тацию «капиталистами» непривилегированных слоев. Селин![58] Лорд Гален, напоминавший большого мотылька, уселся в изножий кровати, чтобы продолжить свое толкование проблемы.

— Наконец-то отвратительная война, начатая проклятым Гитлером, подходит к концу, и мы можем надеяться на мир, мы можем работать, чтобы приблизить его. Обри, мой дорогой мальчик, неужели вы не чувствуете, что воздух пропитан надеждой? Надеждой! Но если на благо нашей культуры будут служить фанатичные антисемиты, мы закончим еще одной кровавой бойней — О, Боже! Ради всего святого, что сделали евреи, чтобы заслужить такое? В конце концов, это мы дали вам бомбу, которую вы сбросили на японцев. Ведь это наша собственная бомба, и мы могли бы придержать ее для себя или назначить высокий процент за ее использование, а патент сохранить. Вы понимаете? Это пришло мне в голову, когда я принял новое назначение. Примерно десять лет, насколько можно предвидеть, будет существовать система, контролирующая бумажную продукцию. И речь, Обри, идет не только о гигиенической продукции, но также о

[58] Примечания: 58

Луи-Фердинанд Селин (1894–1961) — французский писатель, обвинявшийся в антисемитизме.

школьных учебниках, газетах и художественных альбомах. В первую очередь о «краеугольных камнях». Сначала надо спросить себя: «Это краеугольный камень или нет? Если нет, пошел вон!» Получается кошмар, который превратил заседания комитета в скандалы со взаимными обвинениями, а меня в психа, страдающего бессонницей. Тем не менее, думаю, европейская культура все расставит по своим местам. *Я* же должен содействовать изданию полезных книг и запрещать остальные. Но как выбрать полезные? Легко предлагать, как кто-то мне предложил, взять книгу вроде «Улисса» и переписать ее в более приемлемой оптимистичной манере, например Николаса Беверли,[59] но ведь это будет искажением авторской воли, а мне не нужны сиюминутные меры. Нельзя переписать «краеугольный камень», нельзя даже сделать купюры. В этом я уверен и никогда не соглашусь ни на что подобное. Но как действовать, чтобы не ошибиться? Я получил петицию от комитета, в которой написано: «По нашему убеждению, председатель комитета, несмотря на всю свою опытность в

[59] Примечания: 59

Николас Беверли (1898–1983) — английский писатель, автор романов, пьес, книг о путешествиях. Наибольшую известность получили его труды по садоводству.

коммерции и дипломатии, имеет несколько ограниченное представление о культуре и обыденной жизни. По нашему убеждению, он должен посмотреть на мир и увидеть человека таким, каков он есть, нагишом, чтобы судить о культуре, частью которой он является». Я постарался не поддаться раздражению и в целом принял критику. Что ж, если надо выйти в мир, ничего не поделаешь, придется выйти. Но для начала я позвонил Шварцу и спросил, не знает ли он, почему все настроены столь антисемитски, на что он ответил мне: да, он знает. Это из-за монотеизма и монолитных радикальных философий, в основе которых теория ценностей. Всех раздражает, сказал он, иудаизм. И еще он сказал, что я вел себя как параноик, позволив себе расстроиться. Обри, как только меня ни называли в разное время, но никогда не называли параноиком. Я в отчаянии. Вот что получается в наше время, когда стараешься, причем совершенно бескорыстно, понять значение слова «культура».

Лорд Гален приостановил поток жалоб, чтобы выпить еще виски, которое, как заметил Блэнфорд, он теперь пил почти неразбавленным и в гигантских количествах. Очевидно, что случившееся с ним интеллектуальное приключение

потрясло его и даже заставило чаще, чем хотелось бы, обращаться к бутылке.

— Ну, и что было потом? — спросил Обри, заинтересовавшись рассказом и пожалев своего друга.

Гален застонал.

— У Шварца невероятная идея, будто евреи *создали* расовую дискриминацию, провозгласив себя избранным народом и отказавшись разбавлять высокосортную кровь Израиля какой-то другой кровью. Странно, правда?

— Что ж, как посмотреть, — отозвался Обри. — Вот в Индии, например, снобистский комплекс порождает неприкасаемых — тех же христиан для ортодоксальных евреев. Или я неправ?

У Галена не было ни малейшего представления об индийских неприкасаемых.

— Евреи — не неприкасаемые, наоборот, они очень великодушны, хотя, естественно, они торгуются и любят знать, на что идут их деньги. Но все равно евреи великодушны, и у них легко выпросить деньги в долг.

Не стоило дальше развивать эту тему, основанную на типичном непонимании предмета.

— Вы выиграли, — сказал Обри, сдаваясь, и лорд Гален, улыбнувшись, вытянулся в изножий

кровати, после чего, говоря метафорически, спрятал голову под крыло и заснул, словно старый грач в гнезде.

Но даже с закрытыми глазами он продолжал что-то произносить — скорее, бормотать, и это было похоже на обрывки бессвязных ассоциаций, напоминающие о пробелах в его безудержном чтении. Он как будто говорил не с Обри, а с Создателем. Например, он вдруг поднял голову и, не открывая глаз, со страстью вскричал: «Христиане не могли придумать двойную бухгалтерию в книгоиздании!» — сделав при этом резкий жест. После этого он с бессмысленной улыбкой на лице вновь погрузился в сон и прошептал: «Это привело меня на *пуф* миссис Гилкрист. В поиске острых ощущений меня согласился сопровождать молодой дипломат. Тогда я не знал о ее международной известности — подобно многим в современном мире, она как головное предприятие с филиалами в Индии, Турции, Греции, Франции и Истборне. Она буквальным образом выращивает девочек для дипломатического и военного рынков. Кажется, я понравился ей, она считает, что во мне есть величие. Трудно сказать, сколько ей лет, так как у нее крашеные волосы, она игрива и истерична в равной степени. На ми-

нуту мне показалось, что я мог бы влюбиться в эту женщину — Обри, они были правы, мне не хватает немного распутства. Как заметил мой юный друг-дипломат, она истинное воплощение своего времени и культуры, так что мне надо было идти вперед и заняться практическими исследованиями. Много было разговоров о Поучительных (hic!) ограничениях — еще одном краеугольном камне, на сей раз о Щитовидной Железе. Я не очень понимал, но делал вид, будто все понимаю, а потом она прыгнула обратно в гнездышко, и я потерялся в ночи ее волос — нет, в полдне, потому что волосы были ярко-рыжими. Но потерялся, так как потерял способность соображать. Прежде мне приходилось слышать об ураганных влюбленностях, но сам я ничего подобного не испытывал. Я говорю вам об этом, Обри, потому что ничего не хочу от вас скрывать, мне нужно знать, каковы ваши воззрения на культуру. Кроме того, вы всё знаете, потому что во время моего приключения, как вы думаете, кого я встретил? Вашего Кейда, и он сказал мне: «Благослови вас Господь, милорд, что вы делаете в таком месте? Да еще с миссис Гилкрист! Это все равно что спать с дохлой мышью». Он грубый и ограниченный человек и не понимает, что значит наглотаться скучных

наркотиков, как говорит мой юный друг-дипломат. Однако потом стало еще хуже, потому что мы вернулись к миссис Гилкрист в то, что она называла зимним садом, и там особым образом танцевало множество полуодетых людей, а на некоторых вообще почти ничего не было. Один молодой человек в фартучке и канотье, да еще с цветами за левым и правым ухом, стряхнул пепел от сигары мне на руку, причем даже не спросив позволения. Боль была ужасная. У меня до сих пор шрам. Другой, почти голый, заставил меня вальсировать и укусил за щеку, так что я неделю не мог показаться на службе. Миссис Гилкрист сказала, чтобы я не обращал внимания, мол, это укус-любви-с-спервого-взгляда. Но к тому времени я уже потерял терпение и не очень-то мог сдержать себя. Тем не менее, я все время делал мысленные заметки. Она покрыла мою шею тем, что в таких кругах называется *suçons d'amour,* фиолетовыми метками. Мне показалось, будто она гордится мной, потому что я слышал, как она сказала: «Celui-là a des couilles superposées».[60] Интересно, а что сказали бы мои комитетчики, если бы видели меня. Но кто виноват? Потом

---

[60] Примечания: 60
Здесь: у него яйца что надо *(фр.)*.

случилась драка, появились полицейские, и тут я увидел вашего слугу, который был очень добр и помог мне выбраться из дома. Пришел я в себя на улице. Я сидел на тротуаре, и мой складной цилиндр валялся рядом — кто-то наступил на него, — и одна из милых девушек постаралась привести его в порядок, правда, они обшарили мои карманы и вытряхнули бумажник. Однако я взял с собой совсем мало денег, и при мне не было никаких ценных вещей, даже перстень с печаткой я оставил в конторском сейфе. Но на этом мое приключение не закончилось. Мой друг-дипломат усадил меня в такси — против моей воли — и повез в еще более сомнительное место. Меня втолкнули в туалет, и там я получил пинок от викария, возмутился, но мой друг спросил меня: «Разве вы не бывалый человек?» — «О, да!» — «Ну, и отлично!» Я не понял его.

Лорд Гален надолго замолчал, стало слышно похрапывание, и удивленный голос подхватил ниточку, скажем, после прорехи недели в две. Возможно, в своем сознании он что-то пропустил.

— О, Господи! Она говорила и говорила о культуре. А я хотел все запомнить, чтобы потом доложить на собрании комитета. О, Господи!

Он застонал и принялся качать головой из сто-

роны в сторону.

— Телем![61] — вновь заговорил он. — Не думаю, чтобы это вам о чем-то говорило. Аббатство где-то в Провансе, приют совершенного счастья! Теперь его называют Кюкюлот-ин-зе-Гард, там центр торговли жареными каштанами. Миссис Гилкрист иногда ездит туда с матерью на Пасху. У нее раздвоенный живот, как дьявольское копыто, зато половые губы внутри нежные, даже нежнее перчаток хирурга. Иногда она выключает почти весь свет и составляет гороскопы. Она видит ауру и может воздействовать на сознание. Когда я рассказал об этом Сатклиффу, он ответил: «Пусть каждый шумит по-своему, рев осла тоже приятен слуху Создателя!» Кюкюлот привиделся ей во сне. Оказывается, там меня ждет женщина, очень похожая на Деву Марию, но зовут ее Кьюнегонд — еще один краеугольный камень. Яма-и-камень. Ха! Ха! Опять мой юный дипломат, несчастный циник. В последний раз я видел его голым на балконе миссис Гилкрист, он широко раскинул руки и крикнул: «Слушайте меня, заговаривающие сперму божества, потому что у меня воспаление мошонки и я приношу вам в дар кошель Фортуна-

[61] Примечания: 61

Аббатство Телем (желанное — *греч.),* описанное в книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.

та!» Швейцарской пожарной команде пришлось ставить лестницу, чтобы спустить его вниз, и я полагаю, его уже исключили из университета. О Господи, Обри, и все это потому, что они сказали, будто я не знаю жизни.

Все же «Улисс» мерзкая книга, что с ней делать? Тоби говорит, все энергичные путешественники — потомки Диониса, они — настоящие боги вина, которое согревает, заставляет двигаться, побуждает к любопытству. Вечный Жид, Летучий Голландец, Жиль Блаз, Панург — о, у меня голова кружится от всего, что я наслушался!

Обри с болью подумал о том долгом кошмаре, который пришлось пережить Джойсу, прежде чем он опубликовал свой роман, — восемнадцать лет — и он сказал:

— Вам не следует заносить его в черный список, как бы вы к нему ни относились, только не Джойса. Католики это уже сделали, а ведь он был тайным католиком, таким же, как старик Гюисманс. Отсюда его тяжелый церковный стиль, страшные отзвуки незабываемого и пародия на него. Его стиль по-церковному богат, а Блум оскверняет Церковь, гадит на главный престол. Хорошо еще, что он, когда гадит, не кричит о своей вере. Конечно же, это самый настоящий

«краеугольный камень».

Но Гален уже спал и ничего не слышал, с его губ слетало легкое похрапывание, он улыбался каким-то милым воспоминаниям. Как раз в эту минуту в палату тенью прошмыгнул, прижимая палец к губам, удивленный Сатклифф и, расположившись на ближайшем стуле, прошептал:

— Ничего, что я тут? Он все еще исповедуется?

— Да, вроде, уже все. Рассказывал о миссис Гилкрист, о которой я, кажется, уже слышал.

— А я не слышал.

— Могу пригласить ее к вам на чашечку чая. Она как будто мастерица массажа.

— Спасибо, мой друг, не надо.

— Она умеет таинственно плавить воск и трогательно рассуждать о третьем глазе, Troisieme Oeil, как она говорит, классно подмигивая. Но, на самом деле, ее в первую очередь занимает Troisième Jambe[62] мужчин — у кого она имелась, были великолепны. «Quel homme fascinant, il est géometre»,[63] — вкрадчиво произносит она. Или вот так: «Un homme spécial; il est chef de gare mais

---

[62] Примечания: 62
Третья нога *(фр.)*.

[63] Примечания: 63
Какой очаровательный мужчина, он геометр *(фр.)*.

il a des qualitès de coeur!»[64] Таких, как она, наши предки называли куртизанками высшей пробы. Вот и Кейд сказал: «Ей ничего не стоит показать такое, от чего черепица летит с крыши».

— Вот уж не знал, что вы с одобрением относитесь к весьма разгульному образу жизни Галена.

Сатклифф кивнул.

— Это и есть настоящая жизнь Женевы, столицы Кальвина. Тоби первым познакомилея с ней, и это оказалось таким успокаивающим средством, что он часто откладывает на часок свое вязание и идет послушать шутки девочек миссис Гилкрист. Ее дом — сердце Шпенглеровой столицы, где всем видно, что наша цивилизация всего-навсего усталая обезьянка, которая протягивает вам оловянную кружку, сидя на шарманке, ручку которой крутит громоздкий горожанин-еврей. Тоби говорит, что Фрейд — единственный честный еврей, как Сократ был единственным честным греком. Ну да, я участвовал в походе за Золотым Руном — если так можно выразиться. Он отлично поработал. Открыл, что царство добра начинается тогда, когда всех объединяет любовь к бараньим котлетам. За нами наблюдает термо-

[64] Примечания: 64

Это человек особенный, он начальник вокзала, но на редкость добр *(фр.)*.

ядерный Иегова!

— В том, что вы говорите, есть дьявольская несообразность.

— Здравый смысл, разбавленный виски. Теперь все будет казаться яснее и яснее, коли вы признали, что я существую или что вы существуете лишь относительно меня! Сократ жил единственно в сознании Платона, Фрейд — в сознании Юнга, вот так. Бандитская цепочка. Сэм как-то сочинил лимерик на эту тему.

> Кто отправляет в чистку член,
> Рискует получить крючок взамен,
> И чтоб восстановить свое добро,
> Он к шлюхе понесет его,
> Она — Венера для него.

— Точнее, пожалуйста, опять какой-то бред!

— Все очень просто, Обри. Если суперэго в действительности Бог-отец, тогда мужчина — единственное животное, у которого одно яйцо выше другого, ведь никто другой не носит свои яйца в таком положении. Женщины обнаружили это и стали соперничать, драться, метать стволы,[65] лазать на скользкий столб, бороться в

---

[65] Примечания: 65
Шотландский народный вид спорта.

грязи, писать, рисовать, писать стоя, прочищать горло, как — лучше, — чем мужчины. Я уязвлен, *morfondu*,[66] у меня кровь стынет в жилах от этого действа. Вот что происходит, когда им позволяют участвовать в войне.

— Во всяком случае, они свободны, и можно этим воспользоваться.

— Как сказать.

И он уныло прочитал две стихотворные строчки:

> Сумчатый Сатклифф с отличной мошонкой
> У телефона сидит в ожидании трели презвонкой.

Вдруг, напомнив всплывающего на поверхность кита, лежавший Гален напрягся и вскочил, как будто его подбросило пружиной.

— Боже мой, где я? — спросил он в изумлении, после чего так же неожиданно закрыл глаза и вновь провалился в глубокий сон.

— Если он может спать, несмотря на ваши изыскания, — проговорил Обри, — ему ничто не помешает выспаться.

---

[66] Примечания: 66
В тоске *(фр.)*.

— Я еще не обо всем рассказал, — стараясь говорить тише, продолжал Сатклифф, но прежде дав лорду Галену пару минут, чтобы он покрепче заснул. — Я не рассказал вам о Распятии в самый памятный вечер, тем более что он был последним и худшим из всех. Примерно в полночь, может быть немного позднее, пришло довольно много актеров или участников карнавальной вечеринки в экстравагантных шляпах с перьями, в причудливых масках, с нечеловеческими носами. Все они были более или менее пьяны, и обнаженные сирены начали с большим удовольствием раздевать их, словно снимать плоды с деревьев, и облачаться в их шляпы, носы и все прочее, а тем временем громко звучала музыка и все набрасывались на еду, за исключением тех, кого, как крошку Краваш-Биш, надо было поучить крапивой. Не говорите мне, где они их отыскали в такой поздний час, не исключено, что, благодаря свету луны, возле озера. Посреди всего этого томящийся Гален бродил менее чем полуодетый и мало что соображал под действием виски. Вдруг случилась драка, которую вовремя остановили, слава Богу, хотя я слышал пронзительный женский крик: «Lâche-moi, espèce de

morve»,[67] — что я перевел для себя как: «Не трогай меня, хам!» Между дерущимися встали два клоуна, и вечеринка покатила дальше над нашими головами, словно морские волны. Явились новые актеры, громче зазвучала музыка — вроде додинастического джаза с елейным звучанием кларнетов, взывающих с забытых минаретов к правоверным, что толпились на крошечной танцевальной площадке и гавкали, как пекинесы. Кто-то закричал: «Искупление!» — и я подумал, что это религиозный маньяк, но нет, он размахивал банковским чеком; оказалось, среди нас были банкиры, и я даже видел одного в чем мать родила. Выглядел он в точности как остальные, но все время кричал: «Я весь замерз, послушайте, все мои активы, капиталы, фонды, все заморожено!» Трудно было сказать, кого он хочет убедить. Тоби задумчиво рассуждал о том, чтобы принести секретный передатчик и просеивать всю доступную информацию. «Почему бы не установить его — меня иногда посещают гениальные идеи — в «кошечке» миссис Гилкрист? Оттуда вы могли бы управлять миром».

— Однако, — продолжал он, — я не смог развить

---

[67] Примечания: 67
Оставь меня, чертов сопляк *(фр.)*.

эту идею, потому что очаровательная смуглая девица увлекла меня в альков к более тривиальному занятию, к еде — факсимиле радости, которую я не преминул разделить с ней. Это была темноволосая, печальная красотка семитских кровей, к тому же расстроенная и трепещущая, как потревоженный нерв. Тут-то я ощутил всю тяжесть своих лет, глядя в прекрасные тоскующие глаза. Айя! У еврейских девушек густая шерстка на лобке, и они бурлят в своей грешной целеустремленности, распутные, одинокие и сексуальные, как ласточки весной: без единого намека на ослушание они выскакивают из темного праязыка чувственности, как роскошные ятаганы, выхваченные султаном…

— Уф!

— Благодарю вас!

— Расскажите мне о любви. Мне отказано в ней с тех пор, как меня привезли сюда, и я начинаю по ней скучать. Если я хочу писать книгу, то мне нельзя вести жизнь монашенки. Кстати, если долго не использовать какой-то орган, то он атрофируется?

— Не думаю — но лучше спросите своего врача.

— Я спрашивал. Он сказал, что не атрофиру-

ется. На самом деле, я боюсь не столько за себя, сколько за мое дитя, за мою книгу. Ах, Роб, до чего же странное наваждение наша игра в писательство! Я жажду совершенной формы, достигнутой благодаря точному методу — как добыча угля или, еще лучше, операция на сердце. Но, чтобы добиться этого, сначала нужно, чтобы появился мозговой зуд, желание *знать,* а уж потом скрипи себе хоть до смерти, до посинения исписывай бумагу чернилами. А зачем?

— Ну, единственное оправдание в том, что вам это нравится.

Блэнфорду не пришлись по душе эти слова, и, чтобы развеселить его, Сатклифф произнес:

Вновь ясное утро
Создатель явил,
На благо Его не жалейте вы сил,
Забыв о проблемах
И глупых дилеммах.
Прожил я немало и весен и зим,
Счастливый я пес, признаюсь. А засим,
Топчите росу по утрам, и почаще,
Чтоб жизнь вам казалась все слаще и слаще.

— Что на самом деле мучает вас, так это тео-

логические придирки, которые не имеют ничего общего с вашей книгой, поскольку она не *plaidoyer*[68] и не молитва. Но если вы будете постоянно демонстрировать всем свое несчастное эго, то постарайтесь не совершить ошибку, выпустив на волю опрометчивых ид. Помните, что маг и заклинатель должен быть достоин своих яиц!

— Отлично сказано! Превосходно сказано!

— А теперь, Обри, вернемся к главному. Это не менее важно, чем распятие лорда Галена руками миссис Гилкрист и ее девочек — зрелище великого драматического и символического значения. Удивительно, с какой скромностью, не ропща, он принял свою судьбу; на самом деле, он выбрал свою судьбу, но было уже очень поздно, около трех часов, когда разные реальности начинают смешиваться, то есть наступило время, которое китайцы определяют как границу между днем и ночью, между определенностью и неопределенностью. К нашей двери подошла юная и совершенно голая особа, не потерявшая пьяного достоинства, и громким голосом сообщила: «Внизу стоит еврейский джентльмен. Он хочет, чтобы его распяли, и спрашивает, не сделаете ли вы ему

---

[68] Примечания: 68
Защитительная речь *(фр.)*.

такое одолжение?» Все, естественно, выразили желание угодить джентльмену, потому что были расположены творить добро, — но как это сделать? К счастью для Галена, гвоздей не нашлось. Но где был он сам? Некоторое время его никто не видел, и все думали, что он ушел или спит в укромном уголке. А он разделся и заперся в шкафу со швабрами и помойными ведрами и оттуда объявил о своем решении искупить грехи еврейского народа, и стал терпеливо, с улыбкой ждать, когда его распнут. Вышеупомянутая девушка, подготовив аудиторию, отперла его и стала водить из комнаты в комнату — а он тем временем стыдливо и несколько плутовато улыбался, но был пьян до смерти, до комы, до седьмого неба непонимания. У него туманилось сознание, он устал и не знал, где находится. К тому же он был совсем голым, разве что девушка держала его за старый итонский галстук, когда вела за собой, как Ганди вел козу по рукоплещущему базару. Точно так же мог бы вести своих нагулянных овец с толстыми задами турецкий мясник, вызывая этим зрелищем обильное слюноотделение у покупателей. У нас тоже обильно выделялась слюна, но кое-чего не хватало — например, креста. Мы не знали, что миссис Гилкрист не в первый раз ор-

ганизовывала распятие, доставляя удовольствие клиенту, — но мы предполагали, что это будет извращение, возможно, своего рода специальное обслуживание. Гален выглядел до наивности счастливым, так что вряд ли он был извращенцем, мечтавшим о раскаленных щипцах и доске, утыканной гвоздями. Проходя по комнатам, он с безобидным блаженством вертел головой из стороны в сторону, и нельзя было не восхититься им и не пожелать ему удачи в его маленьком приключении.

В сопровождении толпы любопытствующих девушка с вызывающим видом переходила из одного салона в другой, двигаясь в сторону обнесенной стеной высокой веранды, которую миссис Гилкрист называет «ютом». В этом брачном чертоге, посередине, стоит огромная двуспальная кровать под массивным средневековым балдахином и больше нет никакой мебели. Наверно, тут, в этой громадной кровати, юная миссис Гилкрист уступила чарам давно ушедшего в мир иной майора, которого она выдавала за своего последнего, покойного мужа. Во всяком случае, именно эта кровать должна была стать местом распятия лорда Галена: два массивных столба в изголовье годились для предполагаемого действа — это бы-

ло лучше, чем крест, хотя и не очень удобно для ног. Тем временем девушки с криками, песнями и пожеланиями удачи принялись привязывать раскинутые в стороны руки Галена к столбам, тогда как Гален, не без юмора склонив голову набок, подобно измученному Иисусу Христу, вдруг заговорил: «Я лишь хотел быть хорошим, благочестивым и послушным, — скромно признался он. — Я был готов ждать Господа, чтобы он отметил меня. Мои дорогие, это сработало. Это сработало, и вот я здесь! — Он попытался воздеть руки к небу, забыв, что они привязаны, но это его не обескуражило. — Посол в Бангалоре явился мне в одеждах *khit-magar,* или мажордома. Он спросил: "Почему вы не отказываетесь от залитого кровью христианства? Снимите фартук мясника, так сказать, забудьте о благочестивой чепухе, перестаньте быть заложником респектабельности, уйдите от тех, кто пьет кровь и ест плоть, мучаясь комплексом разрухи. Бац! Трах! Плюх! Будьте самим собой даже в комиксе! Мой дорогой Гален, откажитесь от мерзкого монотеизма, который привел к отделению человека от природы и освободил в нем первобытного разорителя. Возьмите в свое сердце беспомощность, безобидность, что есть настоящий буддизм. Пусть

медитация формирует ваши чувства, а дыхание станет мотором мысли!"»

Посреди тамошнего шумного балагана Гален умудрялся выглядеть Иисусом Распятым кисти Мантеньи[69] — сходство было бы полным, если бы не дурацкое благодушие, которое он проявлял, когда кто-то тыкал его в ребра. Любая девица, проходя мимо, могла схватиться за старый итонский галстук и, потянув за него, произнести «динь-динь!» — подражая трамваю. Или крикнуть: «У него, говорят, ямочки на попе, как у французского писателя!» Однако между подобными инцидентами лорд Гален продолжал говорить, повторяя за своим буддистом, — во всяком случае, так можно было подумать: «Безвинно, безвредно, беззаботно, бесшумно, бесполезно, безнадежно, бесштанно, бесформенно, беззвучно, безупречно…»

В эту минуту на сцене появилась сама миссис Гилкрист, завернутая в розовый шелк и белые меха, и заскользила по комнате, напоминая дикую птицу, которая летит очень низко, почти касаясь когтями поверхности озера. Она привлекла к себе внимание несомненным величием и укоризной во взоре. Громко хлопнув в ладоши,

---

[69] Примечания: 69

Андреа Мантенья (1431–1506) — итальянский живописец. Его искусство с героическим пафосом утверждает силу и достоинство человека.

она воскликнула: «Дети мои! Дети мои! Что тут происходит? Почему бы не поторопиться? Как насчет *истребления* еврейского господина?» С этими словами она ласково потрепала Галена по подбородку, отчего у него вырвался короткий смешок, хотя на лице появился едва заметный страх — он не имел ни малейшего представления о том, какое значение вкладывает в это слово миссис Гилкрист. Однако для девиц в этом не было тайны. Тотчас же появились спрятанные за спинами тюбики с губной помадой самых разных оттенков — они были похожи на маленькие красные расщелинки тысячи жаждущих любви левреток. Столпившись вокруг лорда Галена, девушки наклонились над ним и принялись сосредоточенно его раскрашивать, покрывая все доступные места великого мужа цветочками, надписями, паутинками, сердечками, стрелами, а также менее известными *граффити,* например гениталиями других представителей животного царства, знаменитых своей похотливостью. Это был почтенный обряд поклонения плодородию, исполненный почти без пререканий, тогда как восторженный Гален, все еще с привязанными руками, сохранял спокойствие, первый раз в жизни чувствуя себя достойно оцененным, лю-

бимым и понятым. Правда, время от времени его одолевала усталость, и он повисал на столбах. А потом произошла катастрофа.

Чтобы разрисовать спину, ягодицы, не говоря уж о ногах лорда Гале на, юные дамы миссис Гилкрист полезли на кровать, и это привело к беде. Тяжелый балдахин раскачался, неожиданно упал с рамы и повлек за собой столб — к счастью, лорд Гален каким-то образом увернулся и избежал удара по голове. Тем не менее, одна рука у него все еще оставалась привязанной, хотя теперь он беспомощно лежал на полу. На его теле не осталось ни дюйма, не испытавшего на себе художественного энтузиазма девиц, и Гален походил на татуированного воина-маори, готовящегося к битве, или африканского вождя, собирающегося отправлять колдовской обряд. Естественно, началась веселая паника с пиханьем, синяками и царапинами, а когда стало ясно, что часть кровати стоит крепко, девушки опять поспешили к лорду Галену и стали помогать ему сойти с креста, гладя его, что-то мурлыча и не давая испугаться. Но он все же испугался, правда не сильно, так как виски умертвил его чувства. Распятого и уничтоженного, его перетащили на ближайший диван и уложили, словно соблюдая некую церемонию, а

потом забросали подушками, оставив на свободе лишь чудовищно расписанную голову, — будто американские индейцы похоронили тотемный столб. Но под подушками было уютно и тепло, и к Галену вернулось хорошее настроение, ибо он не потерял уверенности, что восстанет на третий день, по крайней мере, так ему обещала миссис Гилкрист. «Поспите немного, дорогой», — предложила она. Однако обстоятельства сложились иначе.

В эту минуту с видом ангелов-мстителей появились двое, и тут как по волшебству буря стихла, подчиняясь судьбоносному жесту. Одним из пришедших оказался Феликс Чатто, побелевший от изумления, возмущения и ярости. Он размахивал аккуратно свернутым, лондонским зонтом — подходящим символом неодобрения. Потом высоко поднял зонт, наверное, так Зевс нес свой трезубец, а святой — скипетр. И закричал, немного задыхаясь от волнения: *«Немедленно прекратите!»* Скорее всего, эти слова относились в первую очередь к лорду Галену, но прозвучали достаточно громко, чтобы их услышали все, кто находился в комнате. Вторым из вновь прибывших, как ни странно, оказался сконфуженный Шварц, чувствовавший себя явно не в

своей тарелке. Он стоял с несчастным видом и размахивал желудочным зондом — его ввело в заблуждение состояние Галена$_5$ который все еще пребывал в легкой эйфории, несмотря на свою ужасающую раскраску. Феликс метался в ярости, его чувство *que dira-t-on*[70] нарастало день за днем по мере того, как до него доходили слухи о культурных изысканиях Галена. «Вся Женева смеется над вами!» — крикнул он и ударил лежавшего дядю зонтиком, однако удар пришелся по подушке, издавшей довольный звук. У Галена изменилось лицо — скажем, исказилось — и это было заметно, несмотря на раскраску. До него, так или иначе, дошло, что он в унизительном положении, поэтому он решил взять верх, используя тактику нападения. «Вот уж не думал, Феликс, встретить тебя в таком месте», — глухо произнес он. И злой Феликс прошипел в ответ: «А вы сами? Я-то пришел за *вами* и привез врача и «скорую помощь». На сей раз вас прочистят раз и навсегда в лучшей больнице Женевы!» Лорд Гален пожал плечами и поднял руки, нижняя губа у него подрагивала, и на минуту всем показалось, что он вот-вот заплачет. «Ты строго судишь меня, — про-

[70] Примечания: 70
Что обо мне скажут *(фр.)*.

говорил он, дернув головой. — В конце концов, после всего, через что я прошел, ты судишь меня *слишком* строго».

Все еще размахивавший зонтом Феликс сказал: «Кто-то должен действовать. Последний месяц был кошмарным. На каждом шагу я натыкаюсь на ваших комитетчиков, которые спрашивают о вас, или, еще хуже, сообщают мне о вашем поведении — в высшей степени неприятные новости, должен заметить».

«Феликс, но ведь это из-за них я решился на такое. Если бы ты знал, через что я прошел — мой милый мальчик, это же настоящий американский роман, честное слово! Боже мой! Какой разгул насилия, вульгарности и мерзости. Я едва верил собственным глазам. И каждый — «краеугольный камень»! Нет, Феликс, это коммунизм, это католицизм, вот так-то. А теперь я собираюсь установить шкалу приемлемости Галена и посмотреть, как это скушают Объединенные Нации. Боже мой, до чего я устал!» Он как будто начал кое-что понимать. И только тут до него дошло, что он весь в помаде. Он не мог оторвать от себя взгляда и едва слышно посмеивался — смеяться тише было невозможно. «Ладно, если я должен, то должен», — проговорил он и вытянул перед

собой руки.

Какое-то время никто не мог решить, во что его одеть перед выходом из владений миссис Гилкрист; а потом появились два интерна с носилками, заботливо завернули Галена в простыни, положили на носилки и накрыли сверху одеялом. Девушки ласково попрощались с ним, и миссис Гилкрист подарила ему легкий воздушный поцелуй. На этом закончились для Галена поиски культуры.

Воцарилась тишина. Взгляды мужчин вновь устремились на спящего, который ни разу не пошевелился, пока Сатклифф приглушенно повествовал о его похождениях. Разбудила Галена тишина, но он легко перешел от сна к бодрствованию. Разве что поднял голову и спросил:

— Вы говорили обо мне? Правильно, я это чувствовал. — Он с наслаждением зевнул и продолжал: — В первый раз чувствую себя по-настоящему отдохнувшим и совершенно здоровым. Отдыхать, лежа на ваших ногах, лучшее лекарство — надеюсь, я вам ничего не повредил? Нет? Отлично! — Гален и вправду сделался по-прежнему экспансивным, компанейским. Он поднялся, одернул пиджак и пригладил волосы. — Сегодня вечером я представлю свои рекомендации цен-

тральному комитету, вот тогда поглядим!

Он взял портфель с «краеугольными камнями» культуры и вышел из палаты. В автомобиле его ждал суровый Феликс с поджатыми губами, намеренный отвезти родственника в контору и убедиться в том, что он не сбежал.

— Боюсь, — произнес Сатклифф, — что это конец Галена — эрудита и культурного диктатора. От Тоби я слышал, что его партия готовит вотум недоверия и этот чудовищный осел Гулливер хочет предать его и свергнуть с престола. Гулливер принадлежит к тому типу мужчин, которые верховодят в пабе и лихо кричат: «Вперед!» Представляется он бывшим морским офицером, а на самом деле служил в военно-воздушных силах и быстренько приземлился в Международном валютном фонде. Жуткие слова — «морально неустойчив» (горяч?). Во всяком случае, Гален для него легкая добыча, и я предчувствую худшее.

— Вчера вечером я прочитал еще кое-что из ваших черновиков; любопытно и кое-где напоминает меня. Как бы это сказать? Вам отлично известно, что в соседней комнате постоянно что-то происходит, и вы спрашиваете себя: что это может быть? Но никогда не попадаете в точку. Скажем так, в вашей версии нашей книги — со-

бытия, в моей — отсутствие событий.

Сатклифф уныло кивнул.

— Вы правы. А все потому, что вы реально существуете. Я же всего-навсего выдумка, живущая по доверенности, которую можно поворачивать, как воспоминание, в любую сторону. Я реален, пока это необходимо. Мое существование условно. Вы сами понимаете, наши книги зависимы друг от друга, но не связаны друг с другом.

— Привет!

— Привет!

— В Библии сказано, что все мы создания Его.

— И Иов говорил, что надо рачительно относиться к своему бессмертию.

Задумавшись, Блэнфорд долго смотрел на свое создание, после чего сказал:

— Знаю, я обрек вас на нелегкую жизнь — ужасный брак, столько мучений. Но мы оба наконец-то движемся к апофеозу, вы — как толстый печальный оракул, я — как переживший войну калека, у которого один путь — в преисподнюю. Больше никакой любви, никакого яблочного пирога на небесах. Жизнь продолжится как фантазия — ну и, конечно же, многие из нас должны умереть. Об этом не следует забывать. Но вам, по крайней мере, не придется все это пережить, потому что вы

ограничены литературным умиранием. Тем не менее, результат может оказаться трогательным или поучительным, или тем и другим вместе. Я буду рад в конце концов выпустить вас на свободу, мой Старик из Моря!

— Вы хотите сказать, что скоро эта ужасная и благословенная война, которая мешала нам думать о себе — или хотя бы *за* себя — закончится и мы опять будем предоставлены самим себе? Зимние квартиры для Десятого легиона и Неприкосновенный Запас!

— Я влюблен в Констанс, — вдруг выпалил Блэнфорд, словно школьник, у которого внезапно начался понос.

Во взгляде Сатклиффа появились недоумение и насмешка.

— *Enfin*![71] — сказал он. — Такого нет в тексте! Вот уж не ожидал! Может быть, это неправда? Вам ведь очень нравится выискивать чужие самообманы…

— Подите вы к черту! — воскликнул Блэнфорд, прекрасно понимая, что чертыхнулся к месту.

— Вы спутали меня с Месье, — ответил толстяк. — Так?

---

[71] Примечания: 71
Наконец *(фр.)*.

— Так!

Сатклифф снисходительно хохотнул и с упреком погрозил пальцем своему соавтору.

— Вам ведь известно, что Аффад вернулся?

Блэнфорду это было неизвестно. Но тут в дверь постучали, и вошел Кейд.

— Вы звонили, сэр? — спросил он.

— Нет, Кейд. Не звонил.

Слуга выглядел удивленным и расстроенным.

— Но кто-то же звонил, — произнес он, уверенный в своей правоте, прежде чем повернуться и скрыться за дверью.

— А где Аффад? Почему он не подает признаков жизни? — спросил Блэнфорд.

Сатклифф, чинивший карандаш, пожал плечами.

— Откуда мне знать? Я еще не забыл его с Констанс романтических потрясений и не смел упомянуть о нем, чтобы не расстроить ее.

— Полагаю, — раздраженно проговорил Блэнфорд, — что мы все ведем себя, как компания старых дев, и в результате попросту потворствуем ее эго — несчастному эго, насколько я понимаю!

Сатклифф поглядел на него с иронической улыбкой.

— Скажите пожалуйста! Какие душевные му-

ки! Я думаю, пусть Аффад сам, когда объявится, разберется в своих делах.

На другой день Аффад неожиданно появился в старом баре «Навигация» — правда, днем Констанс бывала там очень редко, обычно она освобождалась вечером. Но как раз в этот день она прошлась пешком до бара, чтобы перехватить Сатклиффа и рассказать ему о Трэш — а ее уговорили немного посидеть и выпить вместе со всеми.

Подъехал автомобиль, и у Констанс упало сердце — она всем своим существом почувствовала опасность — знакомая фигура появилась за стеклянной двери, когда послышался звон колокольчика, а потом дверь распахнулась. На пороге стоял Аффад, который как будто отсутствовал несколько столетий, хотя прошло всего несколько месяцев. Первым побуждением Констанс было отвернуться, может быть, даже сбежать, но она повела себя совсем по-другому. Она встала и пошла навстречу Аффаду с приветливой улыбкой на губах, перехватив его, когда он еще не успел войти в зал, и поцеловала, то есть, можно сказать, вложила цветок в дуло ружья.

— Мы разговариваем или нет? Я забыла, — как ни в чем не бывало, произнесла Констанс.

Это прозвучало вызывающе, даже нагловато, о чем она тотчас пожалела, едва заметила, как похудел и побледнел Аффад, как неуверенно он держится.

— Конечно же, разговариваем, — ответил он тихо, тоже как ни в чем не бывало. — Я должен поблагодарить тебя, вот только не знаю, как.

Они позволили вовлечь себя в общий разговор — неожиданное появление Аффада привлекло к нему всеобщее внимание. Всем хотелось узнать, как он жил, где был, и некоторое время были слышны только преувеличенно громкие приветствия. Аффад взял стакан с пивом и сел за столик рядом с Констанс, чтобы перемолвиться парой слов с Тоби и Райдером, пока Блэнфорд с язвительной и в то же время сочувственной усмешкой следил из своего угла за выражением лица Констанс. Мука, которую она испытала, расставшись с Аффадом, а еще больше то, что она доверила ему как лучшему другу, бередили сердце Блэнфорда, отчего стародавняя привязанность к ней стала еще крепче. Настолько крепче, что он даже не ревновал ее к Аффаду, чьей дружбой дорожил в равной степени: словно они все трое пребывали на равном расстоянии друг от друга. Однако любовников разъединяло взаимное непонимание,

хотя, сидя рядом с Аффадом, Констанс молча улыбалась, несмотря на то что у нее ныло сердце, так как она не могла придумать способа залатать дыру в их отношениях и заодно залечить рану, причиненную тем же взаимонепониманием. До чего же все-таки мужчины невыносимы!

Были и другие причины, прибавлявшие ей мучений, наперекор которым она старалась казаться уверенной в себе и решительной. Она ругала себя за это, ей было не по себе из-за подобного проявления ребячества, однако Аффад как будто ничего не замечал, даже ее новой прически. Неужели ему не нравится? Она перехватила его быстрый взгляд в зеркале, и ей пришло в голову, что, возможно, он счел ее слишком замысловатой, слишком женственной?... Наконец, решив, видимо, что взаимные приветствия исчерпали себя, он поднялся со стула и обратился к Констанс:

— Если не возражаешь, мне бы хотелось пару минут поговорить с тобой. Надо кое о чем рассказать и кое о чем спросить.

Аффад выглядел непривычно бледным и неуверенным в себе. («Отлично!» — мстительно подумала Констанс.)

Они вместе вышли на залитую солнцем улицу,

и, так как день обещал быть пригожим, Аффад предложил оставить автомобиль и прогуляться по набережной, на что Констанс тотчас согласилась.

Правда, согласилась не без тревоги, потому что тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Довольно долго они шли молча, в конце концов согласовав ритм своих шагов, и Аффад успел привести мысли в порядок.

— Ты знаешь, ты должна знать, ты *должна* была понять, что я решил больше никогда не говорить с тобой — для этого, естественно, были причины (которые кажутся тебе глупыми). Поэтому, вернувшись в Женеву, я поехал сразу в дом на озере, собираясь как можно реже бывать в городе. Но я увидел, что ты сделала с моим сыном, — благодаря науке, которую считаю весьма ограниченной, — и не мог не приехать, не мог не сказать тебе спасибо за твой чудесный талант.

Он обнял ее за плечи. Повернувшись друг к другу лицом, они молча крепко обнялись, словно испугались утонуть и это могло их спасти, но им обоим было трудно дышать, и они не произносили ни слова. Констанс заметила рядом скамейку, и, вырвавшись из объятий Аффада, все еще прерывисто дыша, вдруг поняла, что ее обуревают

несовместимые чувства.

— Уф! — воскликнула она, то ли плача, то ли печально смеясь, и закрыла лицо руками. Аффад подошел и нежно погладил ее по голове. (Возможно, ему все-таки понравилась ее новая прическа?) Между прочим, когда они обнялись, он уловил аромат новых духов, который почему-то насторожил его и показался неприятным. Он сам не понял, почему!

— Мы наказаны за то, что позволили себе влюбиться. Наказаны за то, что это произошло слишком поздно. — Он проговорил это, чтобы прервать паузу и скрыть свои чувства, — он забыл, как страстно желал ее. Пальцами он ощущал исходившее от нее, словно электрический ток, желание — и перестал винить себя. — Мы считали себя очень умными, умнее всех.

— Ты все еще не уверен в себе?

— Скорее, не уверен в тебе. Я думал, ты лучше понимаешь, как опасно вмешиваться в систему, которую не знаешь и которая уже давно движется в заданном направлении. Можно потерять руку, глаз, жизнь. Наверно, я плохо объяснил, чего мы добиваемся, и ты решила, будто я состою в примитивном клубе самоубийц, а потому, будучи пылкой женщиной, навоображала невесть что

— мол, как я могу любить тебя и покорно ждать смерти от неведомой руки в выбранное другими людьми время? Разве я не прав?

— Прав, — неохотно подтвердила Констанс. — Полагаю, ты понимаешь, что женщина может так чувствовать. Я и вправду глубоко разочарована в твоем мужестве. Меня по-дурацки обвинили в том, будто я перехватила письмо, даже украла его — а я даже не представляю, что стала бы с ним делать. Поначалу мне пришло на ум, почему бы, из чистой вредности, не уничтожить его и не посмотреть, что будет. Конечно же, ни о какой опасности я не думала, потому что в глубине души не принимала все это всерьез — ты говорил, что откажешься, постараешься выйти из… что я могла думать? Ну, я и взяла письмо, чтобы, пока тебя нет, прийти к какому-то решению, и для сохранности положила его в книгу. Но получилось так, что один человек, безумный человек, взял книгу, и письмо попросту исчезло. Боже мой, я виновата в недомыслии, в злости. Теперь мы стараемся его вернуть, хотя бы узнать, что с ним сделал больной.

— У тебя холодные руки. — Аффад сел рядом с Констанс и взял ее руки в свои. — Я виноват не меньше тебя, но не из-за письма, а из-за то-

го, что не сумел объяснить, какая между нами преграда и с чем тебе надо смириться, чтобы мы могли любить друг друга. Ты права, я размышлял о выходе из клуба, когда вернусь домой, но в общем-то понимал, что это невозможно. Стоило нам расстаться, и я убедился в этом. Ну как я мог это сделать — ведь была бы поломана вся система, скомпрометирована наша цель. Я стал бы предателем!

— Предателем! — с иронией повторила Констанс, и он сжал ее руки.

— Да. Да. Я знаю, что ты считаешь это ребячеством, но есть человек, который стоит за мной, и есть человек, который стоит впереди меня. Я — звено в цепочке. Наши амбиции в некоем безумном смысле совершенно научны, если иметь в виду точное значение этого неправильно употребляемого слова. Мы задействуем цепную реакцию, которая, как нам кажется, противостоит законам энтропии — необратимый процесс всегда ведет к смерти, уничтожению, рассеиванию… Конечно же, это в высшей степени амбициозно. Но, понимаешь, тут нет романтического стремления к смерти… — Он пристально смотрел на нее несколько мгновений, потом вздохнул. — Боже мой! Кажется, ты начинаешь понимать. А я бо-

ялся, что этого никогда не случится — ведь речь идет о неотъемлемой части нашей любви: секс всего лишь цемент, склеивающий двойной образ, который мы представляем реальности, когда делим оргазм, когда *дышим* в одном ритме. Что говорит тебе старина Макс? Наверняка, что-то в этом роде. Верно?

— Да. Я как раз думала о нем.

— Человек, который идет следом за мной, представляет прошлое, а тот, который идет впереди, — будущее. Я между этими двумя полюсами, *Там* и *Теперь*. А еще я чувствую, что живу в тебе, как ты живешь во мне — *s'il vous plaît*![72]

Констанс была счастлива, что не надо лгать и сопротивляться его нежности — хотя, конечно же, «негодяй» заслуживал наказания…

— У меня еще остались сомнения, но я сдаюсь. Мне лишь жаль, что так нехорошо получилось с письмом. Это *все*, что мне сегодня и сейчас необходимо знать?

— В общем, да. Надо привести в порядок дела, но это не самое главное. Главное — принять послание о смерти и передать его дальше. Как ты думаешь, зачем создаются всякие общества

---

[72] Примечания: 72
Здесь: вот так-то! *(фр.)*.

и ассоциации? Они становятся резервуарами энергии и мысли, если хочешь, движущих сил.

— Понятно.

— Я чувствую, что без этого знания передаю очень слабый сигнал. Как грязная свеча зажигания! — Он прижался к ней. — Господи! Я так счастлив, что, кажется, могу потерять сознание!

— Не надо! Давай лучше, я накормлю тебя ланчем. А то от своих египетских крайностей действительно потеряешь сознание. Нет, серьезно — ты очень похудел. Почему?

— Много времени пробыл в пустыне, а на жаре не очень-то поешь. Еще я думал, что потерял твое уважение. Мне было очень нехорошо, и тогда я понял, что по-настоящему люблю тебя, как никого никогда не любил — это могло умалить то, что мы нечаянно обрели! Не хочу, чтобы ты слишком возомнила о себе, поэтому не буду продолжать. Но ведь это очевидно. На самом деле, мне хотелось, чтобы ты позаботилась о малыше, — чтобы вы сблизились, как ты говоришь, дышали одним йоговским дыханием. Это как кольцо дыма, которое ты выдыхаешь, когда куришь, — идеальное и самодостаточное. Констанс, почему ты не запрещаешь мне говорить?

Куда там! Это же был елей на сердце!

Им ничего не оставалось, как заключить друг друга в страстные объятия, что они и сделали, не замечая любопытных взглядов прохожих. Так они просидели довольно долго, пока Констанс не предложила пойти к ней, однако Аффад даже не пошевелился — к удивлению Констанс, он был не в состоянии подняться и идти.

— Ты подумай о мороженом, — проговорила она, — это поможет!

Однако прошло еще некоторое время, прежде чем они вновь зашагали по набережной. День был великолепным, солнечным, и они гуляли по скверам, в которых уже подходили к концу приготовления к *fete votive.* Кое-где стояли палатки, в которых торговали всякими карнавальными игрушками и ленточками, пластмассовыми лодками и куклами. Сцепив мизинцы, они шли мимо. Мысленно Констанс говорила себе: «До чего же чудесно, когда тебя любят всю от макушки до пяток, до кончиков ногтей». В баре они заказали бутылку шампанского и выпили его, словно это был нектар. Ужасно, подумала Констанс, любовь в самом деле маниакальное состояние.

С медицинской точки зрения их можно было признать невменяемыми. Она вспомнила, как когда-то давно он сказал: «Констанс! Давай влю-

бимся и нарожаем кучу детишек!» И сразу же ей пришли на ум слова Макса: «У любой женщины может быть только один любимый мужчина, и у любого мужчины может быть только одна любимая женщина. Отсюда все беды, потому что в жизни такие встречи редкость — все ждут принцессу или принца из сказки. Люди рождаются, чтобы жить парами, как голуби или кобры. Но мы нарушили цикл, стали есть мясо и узнали вкус крови, а потом появились сахар, соль, алкоголь, и мы потеряли связь с вечностью!» Ей стало интересно, что сказал бы Макс о гностических взглядах и обязательствах Аффада. Наверно, ничего, ведь настоящие йоги знают час своей смерти и им не нужны искусственные напоминания, чтобы превратить уход из этого мира в сознательный акт.

— Тебя что-то печалит? — спросил Аффад.

— Нет, ничего, просто время уходит, а оно стало вдвойне драгоценным после нашего разговора о смерти. Глупо и нелепо заранее принимать ее, когда, возможно, судьба уготовила нам умереть через пять минут. Вдруг тебя задавит такси?

— Ты права. Мы непременно заплатим за чудо наших чувств! Боже мой, до чего же приятно вновь видеть тебя, чувствовать тебя, отзываться

на твои чувства! Природа — великий стратег, но с таким даже ей не справиться.

— Мне не по душе такие возвышенные люди, как мы с тобой. Просто терпеть не могу таких людей.

— Знаю. И наши эротические беседы мешают настоящему сексу. Почему бы нам не замолчать и не заняться делом? У меня, кажется, начинается анорексия — сексоанорексия. Если мы в ближайшее время не окажемся в одной постели, меня разобьет паралич. Меня хватит удар, и я потеряю сознание. Остерегайся Нарцисса!

Они подошли к ее дому и стали подниматься рука об руку по лестнице, возвысившись с помощью плохого шампанского, которое пили в баре, до уровня ниспровержения, но и немного испуганные, углубленные в себя, заранее потрясенные предстоящим первым соединением после столь долгого перерыва. Особенно испуганным выглядел Аффад. В квартире было идеально чисто; поработав на славу, уборщица, уходя, задернула шторы, так что они вошли в полутемную комнату. И застыли на месте едва дыша, со страхом глядя друг на друга и в то же время уже ничего не скрывая.

— Себастьян! — шепнула Констанс, скорее сама

себе, чем ему, но он услышал, взял ее за руки и ласковым движением подтолкнул через порог к знакомой заветной кровати, отраженной с трех сторон в высоких зеркалах, и кожа у них светилась в приглушенных лучах солнца, проникавших в окно.

Влюбленные, думала она, принадлежат к исчезающему виду и нуждаются в защите; возможно, им место в заповедниках, где обитают забытые, пережившие свое время виды и где запрещена охота? Но разве может быть счастье, равное этому? Это же блаженство, когда тебя целует твой мужчина, когда вы соединяетесь с ним в любви! Тут нет места расточительству, надо быть бережливой — в опасной игре, действительно опасной, потому что один из партнеров может измениться, еще не успев выйти из нее. Множество людей, возможно большинство, приближаются к концу жизни, ограниченной критерием полезности, и обнаруживают, что двери счастья заперты, недоступны для них, но не по их вине — им просто не повезло.

Они торопливо сбросили с себя одежду, и она кучей легла на пол, словно ее принесло ветром, потом медленно, нерешительно они разомкнули объятия и переместились в теплую постель, где

некоторое время лежали едва дыша, словно только что разделенные близнецы. Им казалось, что с каждым поцелуем они будут неуклонно приближаться к краю могилы. Он вспомнил о письме, в котором говорилось, что «ничего нельзя прибавить или отнять от существующего целого, иначе внутри него начнутся преобразования». Констанс впилась зубами в его губы, и он почувствовал, как сладостно прикасаться к ее нежным бокам и выгнутой спине.

Тем не менее, несмотря на накал страсти, в их ласках главной была спокойная осознанная чувственность, которую дано знать лишь счастливцам, ощущающим себя соединенными в тантрическом браке. Они были честны друг с другом, и им не требовались похотливые игры, чтобы разжечь желание. Объятья сплелись, и они оказались словно в сети.

Из-за того, что Аффад сильно похудел, Констанс проникласъ к нему жалостью и принесла из кухни шоколад — чтобы накормить его и подсластить дремотные поцелуи; а так как он казался слабее ее, то она взяла власть в свои руки, возбужденная тем, что может своим прелестным телом довести его до изнеможения. Она наслаждалась, чувствуя, что владеет им, и он не мешал

ей — притворяясь, чтобы поберечь силы, таким, каким ей хотелось его видеть. Но едва ее страсть немного ослабела, он неожиданно перевернул ее на спину, словно черепаху, и вошел в нее с нерастраченными силами — вновь завоеватель, долгожданный завоеватель. Но откуда у него взялись силы? Как бы то ни было, он знал, что она ждала этого и представляла, как это должно быть. Потом они лежали, тесно прижавшись друг к другу, будто борцы на ковре, но неподвижно и не разнимая губ, в самой настоящей луже пота, однако гордые друг другом, как львы, и смирные, как игрушки!

По обыкновению негромко зазвонил телефон, и сонная Констанс сердито подняла голову.

— Вот дура! Забыла отключить!

Ей не хотелось покидать ни с чем не сравнимые объятия Аффада, чтобы ответить на деловой звонок Шварца или чей-нибудь еще. Откинувшись назад, она помедлила, рассчитывая, что невидимый человек, поверив в ее отсутствие, положит трубку. Не тут-то было. Телефон требовательно звонил и звонил, пока Констанс не сползла с кровати и, не желая просыпаться, чуть ли не на ощупь двинулась в его сторону — но когда она взяла трубку, то услышала мертвую

тишину. Два раза успела она произнести: «Алло, алло», — прежде чем Мнемидис (ибо это был он) с довольной улыбкой положил трубку, узнав голос своего врача и мучителя. Значит, она дома, а не на дежурстве, как предполагал Шварц! До чего же замечательно все складывается, причем без усилий с его стороны: просто обстоятельства подчиняются его желанию! Тем временем рассерженная Констанс стояла, склонившись над телефоном и раздумывая, отключать его или не отключать — совесть врача укоряла ее за постыдное желание. На телефоне была прилеплена бумажная полоска с цитатой из известного философа. Все еще не проснувшись окончательно, она прочитала ее, продолжая прислушиваться к своим противоречивым желаниям. «Всего можно добиться смирением, и смирения тоже, даже когда положением владеет энтропия, а место правды заняла ее противоположность. Даже энтропия в качестве абсолютной очевидности способна, предоставленная себе, меняться и возрождаться. Феникс — не миф!»

Уф! Констанс чувствовала, что наэлектризована, и пришла в ярость, обнаружив бессовестно заснувшего в ее отсутствие Аффада! Вот каков твой мужчина! Но, сказать по правде, она сама

засыпала на ходу, поэтому, обняв его, тотчас погрузилась в сон, и их сердца забились в одном ритме. Когда Аффад проснулся, то не мог сообразить, сколько времени продолжалось его блаженство, вот только Констанс лежала рядом с широко открытыми глазами.

— Что случилось? — шепотом спросил он. — Я разбудил тебя? Я храпел?

Она покачала головой и ответила тоже шепотом:

— Я проснулась, потому что мне в голову пришла идея, прекрасная идея, кстати вполне выполнимая, если только у тебя нет планов на ближайшее время. Почему бы нам не уехать на несколько месяцев, чтобы по-настоящему узнать друг друга, — если, естественно, в твоем распоряжении есть несколько месяцев? Зачем транжирить бесценные дни? У меня масса отгулов. В Провансе уже нет немцев. Там есть старый дом, в котором мы можем жить, правда, нет здешних удобств, но он уютный и расположен в красивом месте рядом с Авиньоном…

— Как странно, ведь я собирался предложить примерно то же самое, даже получил разрешение воспользоваться домом Галена. Ты права, не стоит сидеть и ждать, когда время настигнет нас.

Мы должны быть смелыми, как люди, у которых впереди целая вечность. Возможно, на этот раз мне все же удастся…

Констанс закрыла ему рот ладонью. Из-за многих и почти неодолимых обстоятельств, мешающих их любви, ей не хватало смелости думать о том, что она может забеременеть от него. Нет, им надо двигаться потихоньку, как слепым, которые, постукивая белыми палками, находят свой путь. Как ни странно, но ее пугал даже собственный восторг. Кажется, она даже могла бы решиться и произнести: *«Je t'aime!»*[73] — хотя для нее эти слова всегда представляли непознанную территорию чувств. Но ведь любой человек, пока жив, ждет этого с нетерпением и отчаянием. Любой человек!

Они опять заснули и очнулись, с трудом выбираясь из сна, уже довольно поздно, и вдруг на него напала горячка — это случилось внезапно, и Констанс тотчас определила злую малярию. Поначалу ее испугало столь жестокое проявление болезни, ведь Аффада трясло и крутило так, что он почти не мог говорить, до того сильно у него стучали зубы.

---

[73] Примечания: 73
Я тебя люблю *(фр.)*.

— Я подхватил малярию в пустыне — они там, как дураки, пытались вырастить рис, и теперь малярийный комар уже добрался до ворот Александрии!

Температура у него подскочила чуть не под потолок, зато пульс упал до пола. Он едва не терял сознание, но в его взгляде не было страха, так как он знал, что рано или поздно это закончится. Его глаза горели яростью, отвращением к себе, потому что ему до смерти хотелось вновь соединиться с нею. Потом он стал мучительно потеть. Констанс нашла толстый махровый халат с капюшоном — они утащили его из отеля, где Аффад снимал номер в прошлый раз, когда был в Женеве. Идеальная вещь для такого случая, хотя Констанс пришлось потрудиться, прежде чем она натянула на него халат, ведь он и секунды не мог удержаться на ногах из-за приступов дрожи, бросавших его на четвереньки. Мгновенная перемена была пугающей, потому что его скрутило и он буквально посерел. Злая малярия известна своими непредсказуемыми температурными скачками. Однако теперь было не до любви; Аффаду предстояло еще помучиться, пока малярия не оставит его в покое. Констанс укрыла его одеялами, после чего он послушно повернулся лицом

к стенке и, не переставая дрожать, задремал с такой высокой температурой, что горел как в огне. Она даже не стала мерить ему температуру, чтобы не испугаться! Конечно же, не обошлось и без лекарств, но они должны были подействовать лишь к утру. И тогда он будет как выжатый лимон… Проклятье!

«Проклятье» еще и потому, что опять зазвонил телефон. В трубке она услыхала нарочито спокойный голос Шварца, словно он старался скрыть волнение или страх.

— Я везде пытался отыскать тебя, потому что твой подопечный сбежал. Да, Мнемидис!

Констанс надолго задумалась.

— Подкачала наша охрана? Что с Пьером?

— Мнемидис довольно жестоко ранил его большим ножом, который взял в кухне. Но он, точно, сбежал, потому что звонил своему врачу из Александрии и пришел в восторг от новостей. Тебе ведь известно, что его друзья пытались получить документы, чтобы увезти его в Каир? Ну, так швейцарцы пошли им навстречу, и теперь Мнемидису ничто не мешает встретиться с египтянами и на частном самолете улететь домой — самолет ждет в аэропорту. Поэтому не стоит особенно тревожиться из-за его побега, но

я все же переехал в отель и попросил плотника поменять замок во входной двери у себя дома. Полагаю, тебе надо поступить так же. По крайней мере, пока ситуация не прояснится. Александрийский доктор обещал, что даст мне знать, как только Мнемидис окажется под их опекой, чтобы они могли сопроводить его в Каир. Только этого нам не хватало! Надеюсь, ты не жалеешь, что ты настаивала на лечении? Нет? Ну, хорошо. Во всяком случае, Констанс, не надо рисковать. Сейчас он где-то в городе, и никто не знает, где именно. Короче говоря… Пожалуйста, будь *qui-vive*,[74] ладно?

— Ладно, — не очень уверенно отозвалась Констанс.

---

[74] Примечания: 74
Настороже *(фр.)*.

Глава шестая
Последний путь

Мнемидис извлек максимум из своей свободы и был в восторге от великолепного костюма, в котором его никто не мог узнать, хотя для монахини он был крупноват. Теперь он наслаждался неведомой ему прежде красотой старого города. Что до *fete votive,* то праздник показался Мнемидису до того трогательным и невинным, что он чуть не расплакался. Зрелище было впечатляющим. Он от души смеялся над весьма удачными шутками, ни на йоту не выходившими за рамки приличий. А вот визгливые голоса Панча и Джуди, на которые с восторгом откликались дети, приводили его в ужас. Когда-то в Каире к нему подошел маленький мальчик лет десяти, наверняка бедуин, и потом его не смогли найти… Мнемидис тяжело закашлялся. Пора было двигаться дальше. Он ждал вечера, но пока еще не выяснил, где находится нужный ему дом. Но на автобусной станции всегда продают карты города. Там еще есть список главных магистралей, где сказано, как их найти. Довольно долго Мнемидис прово-

зился с картой, пытаясь определить собственное местонахождение, и в конце концов понял, что находится напротив нужной улицы. Оказалось, что у него еще много времени. Он догадался заранее позвонить в отель двум своим каирским приятелям и уже знал об отличном результате их хлопот, о том, что нужные документы получены и частный самолет поджидает в аэропорту. Мнемидис был вне себя от радости, однако попросил разрешения немного задержаться в городе, мол, у него есть кое-какие дела, и предложил встретиться около самолета попозже вечером, примерно в обеденное время или еще позже… Все это было сказано на отличном арабском с уверенным гортанным произношением. «Кстати, — сказал доктор, — не ввязывайтесь ни во что противозаконное, иначе вас запрут тут навсегда, и мы не сможем ничего сделать. Имейте это в виду!» Мнемидис ответил со смешком, что обязательно будет иметь это в виду.

Не желая спешить, Мнемидис назначил встречу в аэропорту на девять часов, чтобы улететь в двенадцать, предоставив египтянину позаботиться о деталях и попросив принести ему одежду, мужскую одежду. О своем теперешнем наряде он умолчал, потому что в глубине души не

доверял никому. Свобода и неизвестное никому место пребывания усиливали его позицию и позволяли диктовать условия. Остальное зависело от него самого. Решив, что день приятный и теплый, он медленно пошел по женевским улицам, с удовольствием напевая себе под нос.

Совершая экскурсию, Мнемидис побывал в более бедной части города, в нищих кварталах, где было много *maisons closes*,[75] много экзотических кафе и отживавших свой век отелей, не говоря уж о кинотеатрах, в которых крутили порнографические фильмы. Единственное, что не изменилось, не поддалось войне, — это порнография; ее не то что не уменьшилось, а стало даже больше. Она была необходима для несчастного человеческого эго, чтобы уменьшить силу, которая несравнимо могущественнее него, — единственную не поддающуюся контролю силу, известную человеку: стоит ее подавить, и она прорывается в символах, жестокости, мечтах, безумии… Мнемидис замедлил шаг, чтобы получить удовольствие от картины в целом. Несколько жалких проституток уже появились на улице, так как кинотеатры могли предложить им добычу. Он замешкался у

[75] Примечания: 75
Публичные дома *(фр.)*.

входа, глядя на рекламу и привлекая любопытные и удивленные взгляды своим монашеским одеянием. До чего же великолепные названия были у фильмов, выражавшие старые, как жизнь, желания и мечты бедняков, раскрывавшие их сущность во всей ее слабости. Мнемидис фыркнул точь-в-точь как обезьяна!

На улице Делабр[76] находились "Queue de Beton", или «Бетонный член», дальше "Plein Le Cul", или «Срамные губы», "Les Enculées", или «Затраханный». Лучшего и желать нельзя! Мнемидис с трудом заставил себя оторваться. И сделал он это с большим сожалением, ему очень хотелось часок посмотреть на порнографические кривляния в кино — это помогло бы сконцентрировать внимание. В таких фильмах он мог максимально прочувствовать сочность мучимой человеческой плоти. Стоило ему подумать об этом, и его словно обдало огнем. Однако войти в кинотеатр ему мешала одежда, не стоило привлекать к себе лишнее внимание. Но до чего же приятно было думать о том, что, если все пойдет как надо — а почему бы и нет? — уже сегодня вечером он покинет страну своего несправедливого пленения!

---

[76] Примечания: 76
Delabre — обветшалая *(фр.)*.

Его это безмерно радовало, и он даже чуть не допустил ошибку и не закурил, так как успел купить пачку сигарет. Однако ему удалось сдержать неожиданный порыв. Миновав кинотеатр, Мнемидис направился дальше по тихой улице в сторону парка. Ждать оставалось недолго, и его наполняла радость при мысли, что удача не покинет его.

Видимо, безумцы — это люди, не имеющие своего «я», так как они помещают себя в других, в объекты своего внимания. Они во власти неизвестности. Например, в ту минуту одна половина мозга Мнемидиса понятия не имела о том, что он сделает под влиянием другой половины. Сладостная неизвестность!

Подобно величайшим мистикам, он подошел к подсознательному пониманию природы как чего-то, существующего в полной *disponibilité,*[77] зависимости, или *нерешительности!* Он был джокером в колоде, он был одинаково готов на дьявольское преступление и на божественное блаженство. Все зависело от того, как ложились кости или поворачивалось колесо. Более того, Мнемидис сам это понимал и не думал о резуль-

---

[77] Примечания: 77
Здесь: доступность *(фр.).*

тате — ни о счастье, ни о боли человеческого существа. Он знал лишь электрические разряды — подобно двигателю, который влечет корабль в порт назначения — ему не терпелось вновь познать мистику преступления!

Такое поддается лечению не более, чем первородный грех. Обычно Мнемидис заставлял себя избавляться от ненужных эмоций, встряхнувшись, точно пес, вот и теперь он вдруг задумался о том, не упустил ли он какую-нибудь маленькую деталь в своем мысленном построении… какое-нибудь крошечное звено. Однако ему было несносно думать об этом и о возможных последствиях, и он запер свой разум, словно закрыл железную дверь. Губы скривила безжалостная усмешка. Наконец-то он шагал по улице, которую искал, и остановился перед тем самым домом, в который намеревался войти в полной уверенности, что все продумано и ему удастся примерно наказать швейцарскую медицину в качестве последнего «прости». К тому же, силы небесные, дверь была распахнута, так как Констанс выбежала в ближайшую аптеку за жаропонижающим для своего заболевшего любовника. Она намеревалась тотчас вернуться, поэтому оставила дверь открытой. С глубоким удовлетворением

Мнемидис следил за черной тенью монахини, которая, словно аллегорическая летучая мышь, с дьявольской осторожностью скользила вверх по лестнице — будто ей предстояло помочь больному или выслушать исповедь человека *in extremis*.[78] Увидев открытую дверь в квартиру, Мнемидис причмокнул. Он вошел внутрь, постоял, оглядываясь кругом, словно запоминая расположение вещей, но на самом деле прислушиваясь к биению своего сердца и спрашивая себя, что делать дальше. Из комнаты рядом донесся легкий шорох, и Мнемидис решительно толкнул дверь — открыл ее, тоже настежь! От восторга у него подпрыгнуло сердце, потому что на кровати он сразу же увидел человека, закутанного в махровый халат, да еще с капюшоном на голове. Человек лежал, повернувшись лицом к стене и спиной к нему, а по тому, как он что-то шептал и дрожал всем телом, Мнемидис сразу же сообразил, что его будущая жертва в горячке, возможно даже в бреду. Удивительно, что она одна, больная, лежит в затененной комнате. Может быть, в квартире есть кто-нибудь еще? Не тратя времени даром, Мнемидис быстро обошел другие

[78] Примечания: 78
При смерти *(лат.)*.

комнаты и с облегчением убедился, что нигде нет ни души. Ничего лучше и представить было нельзя. «Я же тебе говорил!» — тихо произнес он и, подобно сластолюбцу, тяжело дыша приблизился в своей жертве.

Ему повезло, что предстояло иметь дело с неподвижным человеком, а не с таким, который стал бы оказывать сопротивление, драться, уворачиваться. Человек в белом лежал, словно на столе хирурга в ожидании операции; и в невероятной простоте исполнения задуманного Мнемидис усмотрел благосклонность высших сил. Что ж, так тому и быть! Сконцентрировавшись, он бросился вперед и, положив одну руку на плечо жертве, другой взялся за работу с таким проворством, какого сам не ожидал от себя. Жертва не вскрикнула, не застонала, не дернулась. Лишь вздохнула, словно от удовольствия, и глотнула — словно прошелестел ветерок. Имея такие немыслимо острые ножи, можно было и не применять силу, однако Мнемидис не хотел оставить жертве ни одного шанса, так что поработал он на славу. *Consummation est!*[79] Ему показалось, что с его плеч мгновенно свалилась непосильная

---

[79] Примечания: 79
Конец, смерть, осуществление цели *(лат.)*.

тяжесть. Сознание очистилось, словно из мешка высыпали содержимое. Он даже повеселел, ощутив душевный подъем. Тем не менее, он не забыл аккуратно вытереть ножи о холодеющее плечо трупа, а потом на цыпочках пересек комнату. В гостиной стоял письменный стол, а на нем рамка с фотографией его мучительницы, которая выглядела на ней красивой и умной. Довольно долго Мнемидис простоял с довольным видом, не сводя с нее взгляда и мрачно улыбаясь. Сюда, под фотографию, он положил пропавшее письмо, из-за которого она поднимала столько шума в последние несколько недель. Когда-то, совсем молодым, он некоторое время учился у фокусника и перенял от него кое-какие трюки — в частности, умел с профессиональной легкостью делать так, что вещи по его желанию исчезали и появлялись вновь. Вот и теперь он решил оставить письмо — в качестве прощального презрительного жеста! Покинул квартиру он так же тихо, как вошел в нее, с едва слышным щелчком захлопнув за собой дверь, — как раз закрытая дверь и удивила Констанс, когда она через четверть часа вернулась из аптеки. Это было неприятно, потому что она не взяла с собой ключ, а в дверь стучать не хотела, чтобы

не будить больного. Пришлось спуститься вниз и позвонить консьержке, у которой она одолжила запасной ключ. Когда Констанс наконец оказалась в своей квартире, ее поразило, что дверь в спальню открыта, и она застыла перед ней с лекарствами в руках. Почти тотчас неестественно тихая комната и неподвижный Аффад пробудили в ней безотчетный ужас. Не сводя глаз с кровати, она подошла поближе и увидела кровавые пятна на простыне и на халате. У Констанс перехватило дыхание, и лекарства посыпались из рук на пол. Она один раз позвала Аффада, второй — на сей раз громче и требовательнее, испуганная его неподвижностью. Она увидела высунувшуюся из рукава тонкую руку, скрюченную смертью, словно лапа птицы, и бросилась искать пульс, не позволяя себе отвлечься ни на что другое. Задыхаясь, она сдернула простыню и, распахнув халат, испустила вопль ужаса, когда до нее дошел смысл происшедшего, завладевший всеми ее чувствами. Как же это случилось? Снимая с Аффада халат, она почувствовала, как разбежавшиеся мысли и воспоминания вновь соединились, сосредоточившись на жуткой реальности — ранах на теле Аффада! Когда-то ей рассказывали о том, как разворачивают египетскую мумию, чтобы

получить бесценную съедобную плоть, которая питает душу гностика, — только тут она обратила внимание, что Аффада кололи *через* халат даже после его смерти. Кто мог колоть мертвое тело, завернутое для похорон? Констанс ничего не понимала! Ну, конечно же, Аффад рассказывал ей. Белый махровый халат был тот самый, который она залила кровью, когда они с Аффадом впервые соединились. Они украли его из отеля как своего рода любовный талисман. Когда Констанс развернула тело и убедилась в бесполезности медицинской помощи, ей показалось, что она теряет сознание; сил хватило лишь на то, чтобы вызвать «скорую», набрать четырехзначный номер, четыре цифры «скорой помощи». Констанс не узнала своего голоса, когда разговаривала с оператором, это был чужой голос, просивший позвать доктора Шварца. И она потеряла сознание. В таком состоянии ее и нашли.

То ли упав на кровать, то ли вскарабкавшись на нее, Констанс как будто оцепенела рядом с Аффадом, и скоро это оцепенение постигнет многих (по принципу кругов на воде от брошенного камня), потому что неожиданный уход Аффада был столь же невероятным для всех, сколь непостижимым для нее. Однако вскоре она догадалась, что смерть

ее возлюбленного дело рук одного из самых «интересных» ее пациентов. Потрясение было столь велико, что она не могла собраться с мыслями, и это больше всего напугало Шварца, когда он наконец приехал, хотя он и не стал открывать свой черный кожаный саквояж с лекарствами. Гораздо полезнее для нее было заплакать, дать выход чувствам, а не сидеть в растерянности с сухими глазами и пятнами крови на юбке. Отказываясь что-либо понимать, она всматривалась в лицо Аффада, который уже ничего не мог ей сказать, пыталась проникнуть в глубины его разума, одолев твердую оболочку. Все, о чем они говорили, теперь припомнилось ей, захватив даже самые дальние уголки сознания. Ей ни до кого не было дела, не хотелось ни с кем разговаривать, она почти потеряла дар речи. Мысленно она проговорила что-то вроде: «Вот и наступило будущее! Отныне жизнь перестанет быть пустой растратой дыхания!» Однако сам факт его смерти все еще слепил ее — словно она подошла вплотную к огню и не пожелала прикрыть глаза. Значит, невозможно принять смерть сердца — значит, таково было условие первоначального договора? Оглушительной стала тишина, в которой им теперь предстояло беседовать друг с другом!

Тем временем жизнь, ее механическая часть, продолжалась, словно поставленное на сцене землетрясение — сначала приехала «скорая помощь» с дежурным доктором, потом, почти сразу, явился дрожащий Шварц. Он действовал стереотипно, разве что уверенно, так как ему была знакома квартира — из бара под окном он достал бутылку водки. От дозы огненного напитка, которую он предложил ей, она хотела отказаться, но потом выпила, и водка полилась внутрь, как горючее в топку, неся с собой жар без радости и утешения. Тем не менее.

Врач внимательно осмотрел раны, прежде чем позволил переложить тело на носилки. «Удивительно, как мало крови, — прошептал он, словно говоря с самим собой. — Если учесть…»

Что учесть, Констанс не поняла. Потом она увидела, как один из пришедших нашел нож, соотносившийся с ранами Аффада. Нож аккуратно завернули в газету, чтобы отдать коронеру. Еще одно приношение Мнемидиса.

— Допивай до дна, — твердо произнес Шварц, — и посиди спокойно пару минут.

Неожиданно он разозлился на Констанс, хотя в его злости не было ничего рационального. Он даже мог бы закатить ей пощечину. Вот что про-

исходит, когда вмешиваешься в судьбу другого человека, — Шварц не произнес это вслух, но он так думал.

— Он сказал мне, — вдруг заговорила Констанс, — что завещал свое тело клинике. Так и сказал: «Мне приятно думать, что я буду разрезан на куски, как ананас. В конце концов, меня создали на конвейере именно для этого». Смешно.

Шварцу пришлось не по душе то, как Констанс засмеялась нелепой шутке, поэтому он сел рядом с ней и обнял ее за плечи.

Надо было заполнить несколько документов, а так как Шварц был мастером в этих делах, то он быстро справился со своей задачей, не переставая разговаривать с врачом. Тем временем санитары подняли носилки и понесли в ожидавшую «скорую помощь», захлопнув дверь квартиры. Когда врачи обменялись прощальным рукопожатием, Шварц уже в целом представлял, как произошло убийство. На другой день он нашел на автоответчике послание египетского врача и узнал, что все замечательно, Мнемидис вовремя явился в аэропорт и готов лететь в Каир. Что было делать? Задерживать Мнемидиса не имело смысла. Ну, опять признают его сумасшедшим и запрут в больнице — и что дальше?

Глава седьмая
Сюрпризы других измерений

— Конечно же, следует заказать службу, — с непривычной для него резкостью произнес принц. — Надо соблюсти формальности, он бы этого хотел.

Констанс покачала головой.

— Думаю, *ему* было бы все равно, однако мы сделаем так, как вы желаете.

— Одно дело говорить, — сухо отозвался принц. — Другое — справляться вот с такой реальностью.

Глаза у него наполнились слезами, и, увидев это, она тоже едва не расплакалась.

— Вы даже не представляете, как я виновата, — прошептала она, и принц, взяв ее руку, сочувственно пожал ее. Он понимал, что сердцем Констанс еще ребенок, и, обожженному страшной бедой, ему никуда не деться от обретения зрелости.

— Еще одно. Вы очень удивитесь, скольких людей затронул его неожиданный уход. Полагаю,

церковь на озере станет *chapelle ardente*,[80] и нам необходимо опубликовать сообщение в газетах — как вы считаете?

Констанс слишком устала, чтобы соображать. Все как-то разрешалось без ее участия. Ей казалось, что ее мозг оцепенел. Маленькая церковь, о которой говорил принц, была архитектурным памятником и стояла среди тутовых деревьев почти над самой водой. Она принадлежала бабушке мальчика, но не предназначалась для служб — в ней никогда не служили, разве что один раз провели крестины. Ничего лучше нельзя было придумать. Вот только она не годилась для большого количества народа, да и не соответствовала чувствам, которые появлялись при виде человека с застывшим бледным отрешенным лицом, лежавшего в большом, похожем на гондолу гробу. Пришло много простых людей, например курьеров, мелких клерков, машинисток, и некоторые из них проливали искренние слезы, стоило им взглянуть на покойного! Только теперь стало понятно, какую роль этот человек играл в жизни города и Красного Креста. Были, естественно, и близкие друзья Констанс: Сатклифф в

---

[80] Примечания: 80
Помещение, где установлен гроб *(фр.)*.

галстуке, Блэнфорд в кресле-коляске, Тоби, принц и, конечно же, Шварц — все они напряженно размышляли о смысле его смерти, его молчания. Однако сам он как будто был уже далеко, как будто прислушивался к далекой музыке — может быть, и так? Обрывки бесед всплывали в памяти Констанс, и ей вспомнилось, как она сказала однажды: «Черт побери, я верю в то, что по-настоящему люблю тебя!» И он печально отозвался: «Я знаю, это приходит со временем — но есть ли у нас время?» Пророческие слова!

Нетрудным делом оказалось отыскать коптского священника, который вместе с юным послушником провел довольно длинную египетскую заупокойную службу, и их тонкие, словно писк москитов, голоса отзывались эхом в арочных перекрытиях, завешанных паутиной. Женева — столица культов и движений. Здесь есть священники всех конфессий. Церемония получилась одновременно экзотической, причудливой и вполне традиционной, благодаря группе чиновников, одетых, как приличествует представителям буржуазии.

Вторую половину дня Констанс провела, лежа в изножий кровати Блэнфорда; когда она приехала в больницу, он уже обо всем знал, так как ему

позвонил Шварц. Войдя в палату, она сказала:

— Пожалуйста, Обри, я не хочу об этом говорить, вообще не хочу говорить. Можно мне просто побыть тут несколько минут?

Она вложила пальцы в его ладонь и на несколько часов погрузилась в глубокий океан сна. Блэнфорд ничего не сказал — а что скажешь? Однако он почувствовал, как в нем оживает прежняя страсть к Констанс и в его сердце вновь появляется надежда, — от нежного прикосновения ее руки. Ему даже пришло в голову, что однажды она полюбит его. Но это дело времени и обстоятельств, тут нельзя торопиться! Чему быть, того не миновать. Блэнфорд был ужасно счастлив от предчувствия такого будущего, в котором будет много счастья. Однако откуда вдруг такая уверенность? Разве не глупо поощрять в себе подобный оптимизм? Тем временем Констанс лежала у него в ногах и спала, напоминая ему молодую львицу.

Но и он тоже стал жертвой противоречий, появившихся в его мыслях из-за чувства вины, так как ему вдруг пришло в голову, что он, скорее всего, ненавидел Аффада, сам об этом не догадываясь. Удивительно, как весть о гибели друга подарила ему, если не радость, то покой и благодать, даже

желание проявить свои способности. Ему были настолько любопытны его новые ощущения, что он даже не винил себя за них, и это стало для него полной неожиданностью. Ему казалось недостойным Констанс мириться с вульгарными чувствами вроде ревности. («Почему *вульгарными?*» — спрашивал он себя.) Не страдала ли его любовь от излишней изысканности, отравляющей кровь? Или это было не простое взросление, как у всех? Он внимательно вглядывался в лицо спящей Констанс, словно рассчитывая получить ответ, узнать тайну, о которой до сих пор не спрашивал.

«Cet homme n'avait qu'à ouvrir les bras et elle venait sans efforts, sans attendre, elle vanait à lui et ils s'aimaient, ils s'embrassaient...»[81] Ну да, он вдруг понял без слов подавляемую ярость Флоберовой ревности и признал ее за свою. «A lui toutes les joies, toutes ses delices à lui...» — Для *него* все радости, все удовольствия только для *него!* «A lui cette femme toute entière.» — Для него вся эта женщина с ее головой, шеей, грудями, телом, с ее сердцем, ее улыбками, ее двумя руками, которые

[81] Примечания: 81

«Мужчине стоило только раскрыть объятия, и она не противясь, не медля шла к нему, и они любили друг друга, осыпали друг друга поцелуями» *(фр.).*

обнимали его, *ses paroles d'amour.* A lui tout, amoi rien![82] Он легонько пошевелил ногой ее спящее тело, почти виновато из-за своих постыдных мыслей. Ох уж эта электростанция человеческих несчастий и радостей — влагалище! Сатклифф называл его «великим ящиком[83] для секса». Сколько же умственных усилий, сколько науки потребуется, чтобы контролировать его разрушительное действие? Констанс заговорила. Не открывая глаз, так что Блэнфорд не мог сказать наверняка, спит она или бодрствует:

— Вы видели, что сделал мальчик?

Да, он видел.

— Я была поражена, дрожь пробежала по моему телу. Я поняла смысл его решения, поняла, каким оно было трудным. Одно такое простое решение меняет всю жизнь. Я не преувеличиваю?

Она всхлипнула и опять заснула.

А произошло вот что: в маленькой церкви пришедшие, включая бабушку и слуг (она была великолепна в утреннем платье — прекрасном платье, ведь египтянки лучше всего выглядят по

---

[82] Примечания: 82

Ему все, мне — ничего *(фр.)*.

[83] Примечания: 83

Здесь: «tuck-box» — ящик для сластей или посылка с гостинцами для ученика интерната.

утрам, так было всегда), разделились на несколько групп; бабушка стояла в стороне от остальных рядом с мальчиком в его вечной матроске с «HMS[84] 'Мильтон'» на головном уборе… тогда как Констанс оказалась намного впереди и левее, она хотела видеть спокойное лицо своего возлюбленного, который был необъяснимо неподвижен. Неожиданно она услыхала стук маленьких ножек о каменные плиты и, повернув голову, увидела, что мальчик уже отошел от старой дамы и с заранее продуманной решительностью пересекает часовню, направляясь к ней. Он взял ее за руку, не глядя на нее, и после этого они вместе в сгущающихся сумерках смотрели на неподвижное тело в гробу, похожем на гондолу. Тем временем служба приближалась к концу. Распахнув руки, словно открыв птичью клетку, старая дама с любовью и отчаянием отпустила внука. Ее глаза были полны слез, но она улыбалась. Она осознавала важность происшедшего, как осознавала это Констанс. Трудно было удержаться от дрожи, но Констанс удавалось изображать спокойствие, пока она сжимала маленькую ручку, лежавшую у нее в ладони.

---

[84] Примечания: 84

His (Her) Majesty's Ship — сокращение, которое ставится перед названием военного корабля в Великобритании.

Это была новая роль, от которой Констанс некуда было деваться, — роль матери, пожалуй так, завещанная ей Аффадом. Неожиданный дар, причем такой дар, от которого не откажешься. После службы она подвела мальчика к старой даме и сдала с рук на руки, не произнеся ни слова. Однако обеим было тяжело дышать от избытка чувств, и обе понимали недвусмысленное значение поступка ребенка. Детали будут зависеть от обстоятельств. Выбор был сделан, и его следовало уважать. Констанс с трудом уняла дрожь, когда присоединилась к остальным в саду возле церкви, где пришедшие на похороны немного задерживались, не сразу отыскивая свои автомобили. Появился Кейд с письмом для Шварца из какого-то центра по делам беженцев.

Шварц глянул на напечатанный на конверте текст и что-то проворчал, убирая письмо в карман пальто, чтобы прочитать его на досуге. «Международный центр по делам беженцев», — пробурчал он, сердито глядя на Кейда. Теперь, когда война закончилась, весь мир представлял собой лагерь для беженцев. «Откуда оно у вас?» — подозрительно спросил он Кейда, и тот церемонно проскулил в ответ: «Оно пришло в Красный Крест, сэр. А так как я знал, что увижу

вас тут, то и захватил его с собой, чтобы сэкономить время». Посланец вечности с телеграммой в руке — отравленной стрелой! Поначалу ему и в голову не пришло, что в конверте смертный приговор.

Констанс проснулась, когда явился нежданный визитер — загорелый юный гигант в форме со знаками отличия Королевской медицинской службы. Блэнфорд с необыкновенной теплотой поздоровался с ним, встретив его почти как брата, с которым давно не виделся. Это был Дрексел, молодой врач, оказавший ему первую помощь после несчастного случая в пустыне, стоившего жизни первой любви Констанс. В нем было столько доброжелательности, столько естественной теплоты, что Констанс была им очарована. «Брюс Дрексел!» Вот, значит, какой он. Молодой человек поздоровался с Констанс так, словно они были друзьями детства. Ему не терпелось оценить результат операций на бедной спине Блэнфорда, и он с большим интересом прочитал медицинскую карту.

— Вы были правы, — сказал Обри, — когда назвали мои испытания перенастройкой старого *рояля,* как раз это я испытываю на себе. Однако

из *piano à queue*[85] они понемногу делают меня человеком. Есть реальная надежда, что в один прекрасный день я снова смогу ходить, хотя вряд ли у меня получится танцевать на балу. Ничего, без этого я обойдусь!

— Счастье, что вы сюда попали! — с укоризной произнес Дрексел и тотчас оборвал себя, подумав о погибшем и вспомнив, что он был мужем Констанс. Она поднялась и стала поправлять волосы, глядясь в большое зеркало, а Дрексел продолжал, но уже тоном ниже, словно его слова могли быть интересны только Блэнфорду. — Вы уже знаете? Война закончилась, скажем так, почти закончилась, и *великаны, les ogres,* собираются порвать с дипломатией, чтобы вернуться в Верфель, — помните, как мы мечтали об этом, когда плыли по Нилу? Мечтали о том, что будет *après la guerre*?[86] Думаю, это время потихоньку приближается. Старый шато в довольно плачевном состоянии, но мы можем постепенно его восстановить, и, наверно, это прозвучит романтично, но вам бы не хотелось удалиться от мира, если бы это было возможно? В любом случае, я отправляюсь в Прованс

---

[85] Примечания: 85
Рояль *(фр.).*

[86] Примечания: 86
После войны *(фр.).*

в качестве авангарда, чтобы прощупать почву для наших двух *великанов.* Они считают, что будущей весной мы сможем воплотить наш план в жизнь, став постоянным *ménage à trois*...[87]

Дрексел умолк, так как Констанс отвернулась от зеркала и выказала желание вступить в беседу. Почувствовав, что он смущен, она поспешила проговорить:

— Я знаю все о вашем плане, так как Обри рассказал мне, и мне нравится, что мы будем соседями. Но не слишком ли рано ехать туда?

— Немцы ушли, и все понемногу встанет на свои места. Великаны предполагают жить очень скромно на его пенсию, и у меня тоже кое-что есть. — Он улыбнулся, потянулся и встал на ноги. — Почему бы вам не приехать на Рождество и не провести его с нами? Впрочем, пока еще до этого далеко, так что можно и помечтать.

Поразительно, как это ни к чему не обязывающее предложение откликнулось эхом, породило отзвук в сознании Констанс. Словно открылась дверца где-то в дальнем углу, где хранились воспоминания. Прованс! Вернувшись в Женеву после изнурительного пребывания в Провансе во

---

[87] Примечания: 87
Здесь: семейная троица *(фр.).*

время войны, она постоянно говорила об отпуске. Так почему бы не ознаменовать приход мирного времени рождественским визитом?

— Звучит здорово, — не задумываясь, произнесла Констанс, и молодой человек, вздохнув, пожал плечами.

— Как бы там ни было, — проговорил он, обращаясь к Блэнфорду, — ваш-наш роман закончен. Теперь осталось только посмотреть, будем ли мы жить так, как вы написали, или придумаем что-нибудь другое. Вы согласны?

Глава восьмая
После фейерверка

Итак, часы наконец остановились, и Женева, столица инакомыслия, осознала, что должна отпраздновать завершение самой кровавой войны в истории человечества. Тем не менее, именно эта война сделала ее богатой, утвердила ее свободу и границы. Страны, принявшие на себя главный удар и завоевавшие победу, назначили некий день — празднования казались обременительными, если учесть всеобщую усталость, однако надо было отметить событие, пусть даже сдержанно и со смешанными чувствами. День оплакивания человечества был бы более уместен, так как к работе Гитлера и Сталина союзники добавили и кое-что свое зловещим словом «Ялта», таким образом завершив очередной виток европейской истории. Как бы там ни было, день празднования Победы был принят всеми, и примерно неделю швейцарцы трудились, чтобы превратить набережную у озера в сцену для гигантского фейерверка, построив на ней средневековые башни, ворота и крепости. В Женеве появилось новое

развлечение — вечером, после обеда, ходить к озеру и смотреть, насколько продвинулась работа, как трудятся солдаты и гражданские рабочие на понтонах, простирающихся на несколько километров. Ничего подобного не видели со времен Промышленной выставки: с тех пор, как незадолго до войны Париж стал сказочной страной.

Теперь Констанс вместе с доктором Шварцем несколько раз в неделю проходила пешком чуть ли не вокруг всего озера, когда они возвращались вечером из клиники или после обеда в городе. Все тут было интересно и каждый раз по-новому — одномерный город, над которым будут гореть огни, вспыхивать и гаснуть свет. Малоизвестные сцены из средневековой швейцарской истории должны были оживать на фоне фейерверков, те самые сцены, которые превозносили величие свободы и независимости: не исключено, как насмешливо заметил Шварц, что будут также сцены, превозносящие банковское дело и тайные вклады… кто знает? Их обычная прогулка оживлялась происходившим на озере, и они решили вместе пообедать в День Победы, а потом посмотреть фейерверк.

— *Après la guerre!* — пробурчал на ходу старик. — Что это значит? Ведь на самом деле война

никогда по-настоящему не заканчивается, она вечна, как рождение и смерть, это — вечное движение… Не успевает человек добиться желаемого, как ему уже хочется чего-то еще. Желания меняются! История делает разворот на сто восемьдесят градусов. Когда я был молодым, то видел больше смысла в происходивших вещах, соответственно, был готов воевать за них. Теперь я не вижу в них смысла, одна сплошная пустота, и я готов повернуть газовый кран.

— Да что вы говорите? — с раздражением воскликнула Констанс. — Еще вчера я слышала, как вы выражали надежду на то, что Израиль выйдет из сегодняшнего хаоса единым организмом. И что теперь?

У Шварца обвисли щеки, ему стало стыдно.

— Это правда, — согласился он немного помолчав. — Я сказал, что мне кажется, будто я провижу важную роль для Израиля и надеюсь, что он восстанет из руин. Но, Констанс, это не имело никакого отношения к политике и географии. Для меня страна все равно что реторта, в которой может и, наверно, будет идти эксперимент. Это относится к сфере философии и религии — и границы тут ни при чем. Надеюсь, что принцип неопределенности, который наши физики приме-

няют к реальности, найдет путь к религиозным ценностям нового государства. Кажется, ты не понимаешь, так что не буду продолжать. Но я надеюсь на материализм, который был всерьез подготовлен мистицизмом, — так сказать, связь Эпикура с Пифагором. Ладно! Ладно! Полагаю, наши хасиды ухватят его за хвост и поспособствуют его росту. Это будет потрясающий вклад в будущее, потому что от нашего материализма уже ничего не осталось, он ведет нас в никуда. А пока мы портим индийскую систему, внедряя ее в нашу технологию, а Индия портит нашу систему, наделяя Европу кротостью чистого озарения! Шварц умолк.

— Вы думаете, мир становится единым?

— Да! Он обязательно будет таким в будущем. Ну, можем мы помечтать? Почему человек, единственное из всех животных, всегда знает, как лучше, а делает, как хуже?

Этот длинный, бесконечный разговор продолжался, практически не прерываясь, в течение нескольких недель до Дня Победы, который должен был стать исторической *point culminant*.[88] Многое из того, что Шварц говорил, Констанс не

---

[88] Примечания: 88
Кульминация *(фр.)*.

понимала, но его слова вернулись к ней через годы — и тогда ей стало ясно, что благодаря Шварцу она получила бесценное для врача философское образование. Однако слишком часто он говорил неясно, загадочно, может быть, его стоило назвать «боговдохновенным» в его видениях, ведь он был по происхождению евреем и владел мистическим провидением, которое свойственно его народу. Суровый материализм его мировоззрения был всего лишь фасадом, скрывавшим другие пристрастия, например, когда он, вздыхая, произносил: «Насколько мы имеем право вмешиваться в принцип энтропии, подчиняться космосу, который властвует надо всем? — ведь это смертельный поворот мира.

В этом вопросе Восток и Запад все еще не находят согласия. Покорность или вмешательство? Что выбрать?»

— Нет! — продолжал он. — В самой глубине нацизм есть слишком усердный, ортодоксальный иудаизм, который мы можем развернуть и постепенно модифицировать в некое сложное единение с природой. Абсолюты плодят запретительные системы; зато временные системы гибки и дают нам передышку.

Он стукнул по земле палкой.

— В конце концов, я имею *право* на надежду!

— Так и принц иногда говорит!

Шварц фыркнул, потому что немного ревновал к принцу, понимая, как крепко Констанс привязана к крошечному человечку. Надо сказать, что новости из Египта, в которых был заинтересован принц, вряд ли могли считаться утешительными, так как британские власти после многих лет никак не проявляемых подозрений относительно целей гностических групп вдруг решили изучить их деятельность, и двадцать пять сотрудников принца в настоящее время находились под арестом в ожидании конца расследования их политических пристрастий. Принца приводила в ярость одна мысль об этом! Близорукость, тупоумие, расточительство! Какой смысл поддерживать британцев, когда они ведут себя с дурацкой неосмотрительностью! Вся эта буря в стакане воды закончится ничем, потому что не существовало тайн, которые можно было бы раскрыть. Уже понятно, что все это расследование будет сведено на нет, что будут принесены извинения всем арестованным членам клуба! Господи, ну и дурак же их бригадир М.! Однако эти мысли не успокаивали принца, который осознавал, что происходившее делает из него с его

просоюзническими настроениями дурака.

Шварц подумал: «Больше, чем жизнь, или больше, чем смерть, — что точнее? Два пути. Восток и Запад!» Самому ему очень хотелось встать вровень со своей смертью, приближение которой он уже чувствовал.

Итак, они доплелись до Дня Победы, который стал праздником с колокольным звоном и религиозными процессиями, — его восприняли как Святое Воскресенье и государственный праздник вместе взятые. Однако в клинике все было немножко иначе — нельзя по желанию подписать перемирие с болезнью, даже на время праздника Победы. Итак, уже наступил вечер, когда они добрались до «Баварии». На заросших травой площадях вовсю играли оркестры, а под их музыку двигались то в одну, то в другую сторону подразделения моторизованной пехоты в ожидании первых сполохов света со стороны понтонов, на которых были построены великолепные исторические декорации. Пора было обедать, и под воздействием красного вина Шварц совсем разговорился и стал вспоминать фейерверки, которые видел в студенческие годы в Вене и один раз в Венеции. Неужели теперешнее женевское зрелище сравнится с ними по красоте

и оригинальности?

Они уже шли по парку, когда черное небо вдруг побелело и стали видны фасады зданий, похожие на множество лиц, а потом свет начал гаснуть и уходить в сторону, подталкиваемый ночным ветром. Постепенно, по мере того как они приближались к озеру, сместилась световая ось, и весь берег понемногу залило огнем, словно склон холма летом. Все части целого точно исполняли свою прекрасную роль, создавая сплетение световых импульсов, возникавших то справа, то слева, то вверху, то внизу, и каждым огненным всплеском, каждым взрывом света, под неутомимый рокот ракеты или метеора, озаряли город на озере. Пока эта симфония света набирала силу, на понтонах появлялись разные исторические картины, оживали человеческие фигуры, которые двигались, кланялись и танцевали. (В тот день принц сказал Констанс: «Констанс, вы стали ходить, как старуха. Этому надо положить конец! И за волосами перестали следить, как беременные женщины, которые надеются благодаря этому зачать мальчика. Возьмите себя в руки! Вы должны это сделать. Пожалуйста, вы же разумная женщина!») *Разумная!* Она рассказала об этом Шварцу, и тот сердито фыркнул, недовольный

выбором слов. До чего же не похоже на Будду, который думал, будто нет ничего лучше, чем покой и круглый живот! По дороге им попалась телефонная будка, и Шварц, движимый чувством профессионального долга, хотел было позвонить дежурной сестре, чтобы узнать, как обстоят дела в клинике, но кругом стоял шум и гам. Не дав воли своим чувствам, он удержался от звонка.

— В жизни довольно часто бывает так, что в соседней комнате неожиданно случается нечто, о чем мы узнаем гораздо позже! Более того, это поразительно, непредсказуемо и чаще всего неприятно!

— Вы пессимист!

— Нет, реалист! Прагматик!

Они подошли поближе к сверкающему озеру, завороженные многочисленными сценами, которые ради их удовольствия возникли одновременно, — некоторые были из последней войны, некоторые из более давней истории, некоторые, возможно, из будущих войн, еще пока неизвестных людям. Огни и декорации предлагали им подвести итоги прошедших лет, растраченных на насилие и драку, с надеждой, что последняя страница исторической главы перевернута, и дальше все будет по-другому. Женева была сто-

лицей нравственного суда, проигранного дела, напрасной надежды!

— Когда у меня наступило половое созревание, — мрачно произнес Шварц, — было мне лет тринадцать, однажды в церкви меня неожиданно охватил ужас. Вдруг я понял, что все вокруг меня ненормальные, нездоровые, душевнобольные; я понял, что быть христианином значит быть психически неуравновешенным в прямом смысле слова. Меня поразил Quia Absurdam,[89] словно я нечаянно наступил на грабли. Более того, я стал замечать это повсюду — тридцать девять статей или шестьдесят девять сортов бобов фирмы Хайнца. Я весь дрожал, меня бросало в пот, когда я произносил символ веры после священника — мне это казалось тарабарщиной. Иисус был параноиком, как Шмайстер, он сошел с ума, пытаясь или уйти от догматов ортодоксального иудео-христианства, или принять их. Он разделил участь Ницше, так называемый христианский синдром. В своем юношеском отчаянии я не видел для себя надежды. Это было тяжело для чувствительного подростка. Даже теперь, когда я говорю себе, что избежал худшего, то прикусы-

[89] Примечания: 89
Абсурдный тупик, тупик абсурда *(лат.)*.

ваю язык и думаю…

Дюжина сверкающих лебедей устремилась в небо, рассеивая искры; шестнадцать жемчужин с шипением летели вслед за ними, чертя огненные параболы. Констанс подумала: «Мы бросаемся друг к другу в поиске чего-то благородного, высокого. Но чего нет, того нет, и надежды тоже нет. Почему же мы ставим это на первое место? Разве можно не разочароваться?»

Они шли, как узники, прикованные друг к другу кандалами, в данном случае, одинаковыми мыслями, переполненные отчаянием из-за несбывшихся надежд и невыполненных обещаний. Что толку в теориях здоровья и болезни, когда сталкиваешься с такой исторической реальностью? Констанс чувствовала, как мрачнеет Шварц, ощущала таинственную грусть, которая завладевает его разумом. До чего же бессмысленным казался ей помпезный и никому не нужный праздник! Он не запирал ни одной двери в прошлое и не отпирал ни одной двери в будущее. Он ввергал в уныние и тоску — подобно севшим на мель кораблям. Неожиданно — даже не глядя, идет она за ним или нет — Шварц свернул в направлении кафе с баром и заказал двойной виски, все еще не сводя глаз с блистательного

фейерверка над озером. Он шепотом ругался — это была привычка, которую Констанс помнила издавна. Она положила руку ему на плечо, чтобы утешить его, и сказала: «Вы только посмотрите, кто тут!» Констанс обратила внимание на сидевших в дальнем углу Сатклиффа и Тоби, которые, не замечая никого кругом, беседовали с лордом Галеном, излучавшим самое искреннее удовольствие. Шварц не выразил желания присоединяться к ним, так как было очевидно, что Сатклифф уже изрядно пьян и Гален, верно, тоже. Тем не менее, они так радостно поздоровались со Шварцем и Констанс, что тем было неловко развернуться и покинуть кафе, не обменявшись с ними ни словом. Пришлось подойти хотя бы на пару минут.

Поздоровавшись, по возможности приветливо, Констанс и Шварц сели за столик, за которым было как нельзя лучше наблюдать праздничный фейерверк, и лорд Гален заговорил, не давая никому вставить ни слова, забавным образом высказывая те же, что Констанс и Шварц, заботы и опасения. Его волновали проблемы, которые было легко провидеть в послевоенное время.

— Должен признаться, я чувствовал себя ненужным и одиноким, — сказал лорд Гален. — И по-

нятия не имел, к чему приложить свои таланты. Правда, знал, что когда-нибудь вернусь в бизнес. А потом словно получил сигнал с неба, когда мне сообщили о смерти Имхофа. Он оставил завещание в мою пользу — представляете? Я унаследовал тысячи биде, которые находятся на складах в Дьепе в ожидании, когда англичане перевезут их через Ла-Манш и купят, чтобы экономить воду. Вы только подумайте, всю войну они простояли там, никто о них не знал, а они ждали своего часа. И вот, неожиданно, мне стало известно, что они мои. Поначалу я испугался, но в конце концов мое деловое чутье дало о себе знать, и я поместил очень осторожную рекламу в «Эксчейндж энд Март». Естественно — для всего найдется рынок, надо только поискать — я получил предложение из Общества Иисуса экспортировать биде на Дальний Восток, сделав их частью религиозной кампании. Они нашли способ написать на биде «Спаси, Христос» на нескольких языках, и те отправились в путь! После всех выплат у меня осталась неплохая сумма. Короче говоря, у меня появилась возможность уйти из министерства со всеми его неразрешимыми проблемами. Естественно, независимая жизнь тоже полна всяких неприятностей, я это не отрицаю. Но я решил,

что должен куда-то вложить деньги, хотя у меня не было ясного представления, как, когда… И подумайте только… идею мне подсказал Кейд, не *кто-нибудь*, а Кейд, слуга Обри. Я слышал, как он говорил своему хозяину: «Господь благословит вас, сэр, будущее будет в точности как прошлое. Ничего не изменится. Все будут жить, как жили прежде, вот увидите». Это прозвучало убедительно, и я вдруг понял, что он прав. Следовательно, надо вкладывать деньги в старые ценности, в старые идеи, чтобы не потерять их. Ну вот, я решил вложить кругленькую сумму в Помощь семье — скоро опять начнется свадебный бум. Я основал агентство «Вульва» по продаже компьютеров с тем же названием — единственный сексуальный компьютер, который, почти как в жизни, может двигаться, вибрировать, корибантировать,[90] стоит только нажать на кнопку. Он потрясающий и скоро завоюет мировой рынок. И всем этим я обязан проницательности Кейда!

Раздувшись от наивной гордости за свои достижения, Гален огляделся кругом с глупым самодовольством. Сатклифф одобрительно постучал бокалом по столу.

---

[90] Примечания: 90

От «корибант» — спутник богини Кибелы *(миф.),* фригийский жрец.

— Я назначаю себя вашим рекламным менеджером. Буду писать для вас неотразимые слоганы, например… «Прибавьте блеска своему браку с помощью наших писем, написанных от руки и по-французски». Или для швейцарцев нечто более афористичное: «C'est le premier pas qui coûte quand c'est le premier coup qui part!»[91]

Гален не без благодарности пожал плечами.

— Пока нам это не нужно, — торопливо произнес он. — Может быть, потом.

Швейцарский военный оркестр правильным гусиным шагом промаршировал на сверкающем фоне огненных колес, исполняя музыку Сузы. Шварц продолжал тихо ругаться, смиренно, едва ли не благочестиво, не замечая утешительных поглаживаний Констанс. Он делал это неслышно, если учесть победную шумиху. У него лишь двигались губы, и это все.

— Не понимаю, — сказал Тоби якобы беспристрастно, но не в силах скрыть тот факт, что он уже довольно-таки пьян, — как будущее может быть похоже на прошлое. Благодаря науке, мир подошел к своему концу, женщина получила свободу, хотя она все еще привязана к колесу

---

[91] Примечания: 91

«Важен первый шаг, когда наносишь первый удар!» *(фр.).*

деторождения; она свободна по своему усмотрению распространять бесплодие. Баланса полов больше не существует.

Гален выглядел растерянным и испуганным. Зато Сатклифф одобрительно кивнул.

— Как раз об этом я говорил Обри, чем привел его в сильное замешательство. Он тоже верил, что все пойдет, как шло прежде. Пришлось рассеять его иллюзии. Скоро нам всем предстоит сотрудничать в создании предсмертной книги, и важно, чтобы мы смотрели на все одними глазами, чтобы она была написана, как все хорошие книги, плацентарной тенью, мной! Собственно, если ей суждена историческая правдивость, то я бы назвал ее «ЖЕНЩИНА — РУТИНА, МУЖЧИНА — МЯТЕЖ». Ну и, естественно, еще одним результатом запутанного положения вещей будет возрастающая импотенция мужчин — *un refus de partir, mourir un peu beaucoup quoi*![92] Мое основное генетическое алиби, моя потенция, исчезнет совершенно безболезненно.

Он негромко застонал, по-актерски ёрничая. Все это было рассчитано на то, чтобы усилить страдания несчастного Шварца. Если поверить

---

[92] Примечания: 92
Отказ уходить, а умирать — это уж слишком *(фр.)*.

Сатклиффу, то на будущую медицину надежд не оставалось — особенно на такую хрупкую и спорную ее часть, как психоанализ. К тому же, он еще и шутил на этот счет — шутил над трагедией! Шварц неуклюже поднялся и, не контролируя себя, огляделся, словно в поисках оружия. Что до уместности подобных тем именно в этот вечер — в праздник Победы после почти десяти лет войны — то все это казалось необыкновенно смешным. Констанс тоже поднялась, сочувствуя ярости Шварца, и приготовилась последовать за ним, несмотря на уговоры остальных, просивших ее остаться. Когда они отошли подальше от шума и сверкания, Шварц, подумав, вынужден был с горечью признать, что Сатклифф, несмотря ни на что, прав. Пустословие придет на смену философии, прикладной иудаизм — демократии, бесплодие — плодовитости… и так далее. Ничего не попишешь. Но, по крайней мере, он, Шварц, отказывается легкомысленно это воспринимать. Он *не равнодушен*, ему *не все равно!*

Наконец они подошли к безлюдной стоянке такси, и Шварц обернулся, чтобы пожелать Констанс спокойной ночи, ибо она решила остаться в своей городской квартире.

— Мне жаль, что я оказался не на высоте в День

Победы, — покаянно произнес он. — Но во что прикажете верить?

Они обнялись, и он долго, с нежностью смотрел на нее, прежде чем отвернуться, — таким Констанс запомнила его на долгие годы, потому что в последний раз видела Шварца живым. Она запомнила его нежность и профессиональную гордость, связывавшие их во имя несовершенной науки.

Констанс долго смотрела вслед такси, испытывая смутное предчувствие чего-то важного, что должно было произойти, вот только она не знала, чего!

Глава девятая
Конец пути

«ДЛЯ КОНСТАНС», — написал Шварц фиолетовым мелком на их общей доске, прежде чем переписать эти слова на вырванный из рецептурного блокнота листок бумаги, который он прикрепил к диктофону. На листке были стрелка и восклицательный знак, и они указывали на пирамиду из бобин, на которых Шварц записал правдивую историю своей смерти, своего самоубийства. Было бы печально, если бы по какой-нибудь неприятной случайности их не заметили или стерли бы запись. Бобины были тщательно отобраны и пронумерованы. Они давали возможность послушать его рассказы и объяснения по порядку. У Шварца всегда была мания порядка — она досталась ему в дополнение к честности. Вот и в данном конкретном случае ему было необходимо представить свое решение как разумное и простительное, потому что логически обоснованное. Тем не менее, к его чувствам примешивалось чувство вины, отчего и возникла необходимость в том, чтобы уяснить

все для себя самого.

И Шварц и Констанс презирали самоубийц! Ну, так что же произошло?

> «Констанс, дорогая, я предвижу, что тебя удивит мое решение, но и мне оно далось нелегко; довольно долго оно созревало внутри меня, но окончательно созрело на этой неделе, когда я получил письмо, которое мне в твоем присутствии отдал Кейд, — после многих лет неизвестности я все-таки узнал о ее судьбе. Лили наконец отыскалась, она жива! Ее нашли в Толбахе, известном женском лагере в Баварии. Поначалу, конечно же, сердце у меня подскочило от радости, сама можешь представить, взыграли противоречивые чувства; но потом я стал читать дальше и скорее терял покой, нежели обретал его. Теперь у нее нет ни зубов, ни волос, она истощена, временами ее мучает афазия…[93] Моим первым побуждением было мчаться к ней, но когда я позвонил в организацию, занимающуюся узника-

[93] Примечания: 93
Расстройство речи при сохранности органов речи и слуха.

ми, ее лечащий врач попросил меня дать им, как он выразился, «передышку». Ему не хотелось пугать меня. Он настаивал на отсрочке, чтобы немного подкормить ее и привести в чувство. Но он прислал сделанные в лагере фотографии несчастных, которые еще были живы, когда их отыскали. Лили была одной из них, но, к счастью, оказалась в состоянии назвать себя, так что ее досье нашли в лагерной картотеке. От фотографий у меня волосы встали дыбом. Беззубая, безволосая, древняя паучиха, превратившаяся от голода в скелет, — вот что осталось от Лили, от прекрасной Лили!

Конни, ты знаешь, я всегда чувствовал себя виноватым перед Лили — ведь я трусливо сбежал из Вены, бросив ее там на милость нацистов — почти наверняка обрекая на смерть. Мне нет прощения, да я никогда и *не пытался* простить себя за малодушие. Тебе известно, что всю войну я жил с этой тяжестью на душе, — иногда мне, как это ни отвратительно, даже хотелось, чтобы она не вернулась и не осудила меня, — хотя я знаю, что не в ее харак-

тере кого-либо судить! Но от своей вины мне некуда деться. Бывало, я думал о ее возвращении как о радостном событии, которое даст мне шанс позаботиться о ней, заплатить за все перенесенные страдания… Мы отлично умеем разбираться в чужих заблуждениях! А когда наступает наш черед, мы ничего не можем, не можем справиться с собственными фантазиями.

Конечно, я был нетерпелив. Попытался взять все в свои руки. Позвонил и заставил врача соединить меня с Лили напрямую. Ему это пришлось не по вкусу, но он согласился и назначил день. Однако я оказался не готов к сухим щелчкам в ее голосе, к ее робкому молчанию, провалам в памяти. Будто я разговаривал с очень старой и выжившей из ума павианихой. (На этом месте строгое повествование было прервано коротким рыданием. Доктор Шварц долго молчал, а потом как будто спокойно и размеренно продолжил рассказ.)

Постепенно я стал по-другому относиться к ее возвращению; меня пугало то, что

я с отвращением думал об этом и совсем этого не хотел. Много лет, вспоминая о Лили, я испытывал ужасные угрызения совести, а теперь они могли стать еще нестерпимее, ведь со мной рядом было бы живое, дышащее напоминание о моей ответственности за ее несчастья, за то, что она оказалась в лагере! Неожиданно мне стало ясно, что я не в силах вынести такой *dénouement*.[94] Эта мысль доконала меня. Более того, я сам пришел в ужас от своего отвращения. Я был удивлен, нет, потрясен. Что же мне оставалось делать? Еще раз отказаться от нее? Повторить акт предательства только потому, что она в плохом физическом состоянии? Это немыслимо, непростительно! Но что делать? Ничего. Итак, или я подчиняюсь обстоятельствам, или исчезаю со сцены. Решение явилось как окончательное и непреложное! У меня не нашлось даже тени сомнения, чтобы оспорить его абсолютную холодную истинность! (Шварц помолчал, чтобы восстановить дыхание,

[94] Примечания: 94
Конец дела, развязка *(фр.)*.

и было слышно, как он зажигает спичку и раскуривает сигару, прежде чем заговорить вновь.)

Естественно, я предусмотрел быстрый и решительный уход — пуля в голову, и дело сделано! Достал старый револьвер, проверил пули. Потом аккуратно вложил дуло в рот, ведь я неплохо осведомлен — Господь свидетель, в мою бытность интерном я немало повидал таких случаев во время дежурств на полицейской санитарной машине. Пока я сидел так, на меня нахлынули воспоминания, и я почувствовал себя дурак дураком с холодным дулом во рту. Мне, как ты понимаешь, известно, что револьверы стреляют выше цели, поэтому можно не добиться желаемого результата, если стрелять в висок — помнится, один самоубийца выбил себе оба глаза, но остался жив. Единственный надежный способ — стрелять в рот, в небо. Так я и собирался сделать. Но что-то удерживало меня. Отчасти, наверное, от одиночества, отчасти для храбрости я включил телефонную службу точного времени и долго сидел, прислушиваясь

к механическому голосу, произносившему: «На четвертом ударе будет ровно… *Au quatrième toc il sera exactement…*» Не улыбайся! У меня не хватало сил нажать на спусковой крючок. Секунда шла за секундой, словно капли падали из крана, а я все сидел, держа в одной руке револьвер, а в другой телефонную трубку. И тут я вспомнил еще один случай — самоубийца все сделал верно, пустил пулю в рот. Ему снесло половину черепа, словно верхушку поданного на завтрак яйца. Жуткое зрелище для юного и пугливого интерна. Занимаясь уборкой, я не мог сдержать рвоту. Ну, и мне стало ясно, что нельзя обрекать наш персонал на такое зрелище. Я встал и принялся искать кипу и талес. Надев их, вновь взялся за телефонную трубку, но на сей раз решил идти до конца, принуждая себя набраться мужества. Все бумаги у меня в порядке, чековые книжки, документы и все прочее, так что у Лили не будет проблем, когда она поправится, я даже написал ей в этаком бравурном тоне, приглашая ее в свою квартиру, которая скоро будет

принадлежать ей».

В промежутках между словами слышно было, как он попыхивает сигарой, мысленно формулируя то, что хочет сказать дальше.

> «Констанс, я понял, что не могу это сделать. Опять я струсил. Пришлось отложить револьвер — ты его сразу увидишь. Решил заменить его тихим уколом. Это не так драматично, но не менее эффективно. Прощай, милая Констанс».

Он перестал вздыхать. Однако можно было представить, что он делает, по стуку шприца, положенного в пепельницу. Шварц произнес короткую молитву на родном языке, но произнес небрежно, словно недовольный Богом, в которого верил лишь время от времени. Констанс дослушала все до конца, сидя рядом с доктором Шварцем, умершим за письменным столом. Потом она вызвала «скорую помощь».

Глава десятая
Конец эпохи

Было уже очень поздно, когда весть об исчезновении со сцены доктора Шварца была сообщена по телефону Констанс, которая с радостью провела несколько свободных дней дома и даже, собравшись с силами, повидала друзей и сыграла в пул с Сатклиффом и Тоби. Телефон откашлялся и сердито зазвонил. Констанс узнала голос ночного оператора, и у нее упало сердце, едва она услыхала первые страшные слова, положившие конец ее отпуску.

— Доктор Шварц заболел. Доктор, вас разыскивают из отделения «скорой помощи».

— Что случилось? — спросила она, но линию уже переключили, возможно, на врача «скорой помощи», потому что послышались щелчки, голоса и в конце концов непонятно почему раздался голос негра-санитара Эммануэля, который хрипло произнес:

— *Мистер Шварц умер.*

— Что? — не в силах поверить, крикнула Констанс, и глубокий гудящий голос негра, на сей

раз медленнее, повторил информацию. Слова тонули в ней — или она тонула в них, словно в плывуне. Наверняка это ошибка. — Позовите дежурного врача, — проговорила она наконец, причем резко, и голос Эммануэля стих, а вместо него послышался голос врача «скорой помощи», старика Грегори.

— Лучше вам приехать сюда, — сказал он. — Боюсь, наш доктор сам себе сделал укол. Во всяком случае, он сидит за столом, сердце у него остановилось, а в пепельнице шприц. К тому же, Констанс, тут есть для вас послание, и ваше имя написано на доске. Мне не хотелось бы никого звать, пока вы тут не осмотритесь. Я не могу сделать заключение и не хочу звать полицейских, пока мы сами не разобрались. Может быть, вам что-то известно? У него ничего не случилось, что могло бы привести к депрессии?

Констанс застонала, потом как-то глухо засмеялась и ответила:

— Психиатр всегда остается психиатром. Боже мой, Грегори, вы уверены?... Я хочу сказать, вы пробовали массаж сердца?

Грегори ответил ей тоже чем-то вроде стона и торопливо сказал:

— Нас вызвали слишком поздно. Он уже осты-

вал — я прошу вашего согласия на то, чтобы вытащить его из-за стола и положить на кушетку. Иначе будут проблемы.

— Поступайте как считаете нужным. Я постараюсь поймать такси.

Но когда она приехала, все оставалось как было, никто ни к чему не прикоснулся из-за надписи на доске и диктофона. Шварц выглядел так же, как всегда, нормально и уютно, отчего Констанс мгновенно поборола страх и неприязнь и с радостью уселась рядом с ним, чтобы взглянуть на медицинскую карту, которую он открыл и, вероятно, читал в ожидании, пока яд медленно, как змея, проползет по жилам и доберется до сердца. Некоторое время Грегори с сочувствием наблюдал за ней.

— Думаю, она видела его последней. Надо спросить у нее. У меня нет сомнений.

Констанс встрепенулась с выражением жалости и отвращения на лице.

— Наверно, она пришла сюда с последней рукописью, — продолжал Грегори, — и он сказал ей, почему, — разве что вам тоже об этом известно.

Констанс встала.

— Пожалуйста, оставьте меня одну, я должна послушать записи; дайте ему возможность само-

му рассказать обо всем — иначе зачем они? Потом решим что к чему и какую роль будет играть в этом деле полиция.

Грегори кивнул и закурил сигарету.

— А как насчет этой девушки, Сильвии, известной писательницы — как насчет нее? Шварц ее любил?

Констанс покачала головой.

— Нет, все гораздо сложнее; я лечила ее — она просто замечательная, но шизофреничка. Влюбилась в меня, что бы это ни означало, и все пошло насмарку, пришлось ему опять взяться за нее и сделать вид, будто меня отправили очень далеко, в Индию, чтобы избавить ее от мыслей о моей персоне. Такой уж психологический риск!

— Что ж, самое лучшее сейчас оставить вас тут, чтобы вы осмотрелись и пришли к какому-нибудь выводу; он не был любителем тайн. Кстати, на столе сплошные любовные письма — по-видимому, все адресованы Шварцу.

— Нет. В том-то и проблема, что все они адресованы мне. В задачу Шварца входило пересылать их в Индию — потому что он единственный знал мой адрес и не должен был открывать его ей — вот такая история. Мне пришлось отступиться и передать ее лечение Шварцу. Насколько я знаю,

сейчас у нее короткая ремиссия — но ей все равно тяжело, так как даже в светлые минуты она не забывает, что делала и думала, когда была в плохом состоянии.

— Понятно.

— Она самая несчастная из наших больных, потому что очень талантлива. В том, что она пишет, столько поэзии. Думаю, сейчас мне надо навестить ее, сделать вид, будто я вернулась из Индии. Ей будет очень плохо без своего любимого доктора.

Грегори стоял с растерянным видом, продолжая курить.

— Что ж, пойду к себе, проверю, не было ли вызовов. Когда будете готовы встретиться со мной, позвоните.

— Позвоню.

— Констанс, — с искренним сочувствием проговорил он, потому что знал, как много значил для нее старый Шварц, — Констанс, дорогая, это большое несчастье.

И он неловко наклонился, чтобы поцеловать ее. Стоило ей остаться наедине со старым другом, как на нее нахлынули воспоминания о том, что они пережили вместе, — короткие воспоминания о чем-то мимолетном и обычном, как остановка

сердца. «Итак, мой милый, — едва слышно проговорила она, — почему ты решился на то, что сам презирал?» Она включила «звук» и услыхала его голос, который прозвучал в тишине кабинета как ответ на ее вопрос. Пока он размеренно, неторопливо произносил фразу за фразой, она осмотрела небольшой пузырек, в котором был смертельный яд, и в пепельнице пустой шприц, соседствовавший с двумя сигарными окурками. Все было проделано без лишнего шума и вполне обдуманно. Об этом говорили также другие атрибуты самоубийства — револьвер, кипа и талес, лежавшие на краю стола.

Письма были знакомы Констанс, правда, их стало больше после того последнего раза, когда она их видела. Это были аккуратные копии — вероятно, оригиналы отправились в «Индию». Скорее всего, Сильвия приходила к Шварцу и сама оставляла их в его кабинете. Констанс узнала великолепную чистую прозу, которая произвела большое впечатление на Сатклиффа. Она рассказала ему историю Сильвии и показала ее первые письма. Ей не забыть, как один раз она пришла к нему, когда он перекладывал их. Он поднял голову, и его глаза были полны слез восхищения: «Господи, Констанс, у нее получилось, она до-

билась своего, она смогла! По сравнению с этим все, что делаю я, вторично, правда, не лишено своеобразия! Это — искусство, моя дорогая, а не подделка». И он попросил оставить ему папку, чтобы он мог читать и перечитывать письма. Его потрясла история ее жизни, серьезная болезнь и поэтическая влюбленность в Констанс. Сидя рядом со старым другом и учителем, прислушиваясь к звучанию его голоса, рассказывающего о последних часах его жизни, она с невыразимой усталостью вспоминала разные эпизоды. Неожиданно, всего несколько месяцев назад, реальность окрасилась в совершенно другой цвет, словно мир вокруг нее неожиданно постарел, а ее отстранили за ненадобностью, и, будто в трансе, она вслушивалась в голос Шварца, не снимая руки с его неподвижного плеча. Но, наверное, она все-таки потревожила тело, потому что оно стало неожиданно сползать в ее сторону — Констанс еле успела удержать его и вернуть в прежнее положение. Тут она поняла, что необходимо положить его, и, напрягая все силы, перетащила на диван.

Ей пришлось нелегко, хотя Шварц не был толстым. К тому же она не заметила следов *rigor*

mortis,[95] чего боялся Грегори, так как тело легко приняло горизонтальное положение, правда, когда она попыталась сложить руки на груди, у него, словно у куклы, открылись глаза, и старый друг некоторое время спокойно, сдержанно смотрел на нее из обители смерти! Констанс закрыла ладонью глаза, чтобы избавиться от этого зрелища, лишавшего ее душевного равновесия. Веки опустились, и лицо стало незнакомым, выражавшим бесконечное раскаяние. Констанс села, прислушиваясь к рассказу Шварца о причинах его ухода, словно он оправдывался в собственном самоуничтожении, лишавшем ее старого учителя, коллеги и друга. Время от времени она укоризненно встряхивала головой или вставала, чтобы поменять бобину. Она чувствовала, как в душе набирает силу депрессия, чудовищное смятение, которое лишает смысла ее жизнь, мысли и поступки. Потеря Шварца стала преградой в ее сознании, словно он был ей мужем, любовником, а не просто близким другом. Тем не менее, у нее не было слез, она держала себя в руках и сохраняла на лице язвительное выражение, уместное в подобной нелепой ситуации. Однако

---

[95] Примечания: 95
Трупное окоченение *(лат.)*.

гордиться было нечем, и Констанс это понимала. Неторопливый рассказ околдовывал ее, но все же предательские мысли начали появляться в голове, и она осознала, что перестала принадлежать себе, что от ее внутреннего самообладания ничего не осталось. Когда наконец голос Шварца затих, Констанс громко вскрикнула, словно подстреленная охотником птица, и, повернувшись к нему, с неудовольствием отметила, что его левый глаз опять открыт. Правый глаз оставался закрытым. Это придавало лицу хитрое выражение. Констанс стало неприятно. Она поспешно положила ладонь на левый глаз, потом на полминуты прижала ладонью оба глаза, чтобы они больше не открывались.

Больше они не открывались. Констанс нашла одеяло и накрыла им Шварца. Потом она прибралась в комнате, вытерла доску, заменила диктофонные записи и переставила несколько книг на полках. Револьвер, а также кипу и талес, приготовленные для самоубийства, Констанс не тронула, чтобы не оставить отпечатков пальцев и не привлечь внимания полицейских, так как настала их очередь определять назначение предметов. Сняв трубку с телефонного аппарата, она позвонила Грегори, рассказала ему о признании

Шварца и попросила сообщить о его смерти в полицию.

— Я же, — проговорила она, — собираюсь зайти к Сильвии. Надо сказать ей, что я вернулась из Индии и теперь буду сама ее лечить.

Перспектива была не из приятных, и Констанс почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза, когда она шла между соснами в направлении небольшого современного корпуса, в котором жила Сильвия, — жила уже много лет. Собственно, это было ее основное жилье, и ей разрешили обставить его и украсить по собственному вкусу, так что ее комнаты ничем не напоминали больницу, в первую очередь благодаря великолепным обоям и резной массивной прекрасной мебели времен Второй Империи. Здесь было много книг и картин. Старомодная, с балдахином, кровать стояла у стены, на которой висел гобелен, несколько выцветший, но еще очень красивый, с изображением охотников, трубящих в рога и загоняющих олениху. Забив ее, они приказали слугам отнести ее домой, а сами поскакали прочь на фоне холодного итальянского неба в лабиринт покрытых туманной дымкой озер и романтических островков. Олениха лежала в углу и, тяжело дыша, исходила

кровью и слезами, как женщина. Сама Сильвия была чем-то похожа на нее, но слезы высохли у нее на ресницах, и она лежала на кровати работы дамасских мастеров, крепко закрыв глаза, хотя и не спала. Но даже не открывая глаз, она знала, кто пришел к ней. Ее разум медленно избавлялся от действия лекарств, чтобы встретиться с печалью и тоской, вызванными уходом Шварца в другой мир.

— О Господи, дорогая, он был прав, а я не поверила ему, когда он сказал, что вы вернетесь. О, моя единственная любовь, моя Констанс! Мне не терпится послушать ваши рассказы об Индии — какая она, Индия, там и вправду спокойно? Констанс, возьмите меня за руку.

И она протянула ей руку, дрожавшую от волнения первой после долгой разлуки встречи.

Любовь не признает ни людей, ни обстоятельств — она сметает на своем пути все препятствия. Страстная духовная привязанность Сильвии осталась прежней, может быть, даже стала глубже из-за отсутствия объекта ее любви. Теперь она старалась понять и смириться с долгим пустым периодом в своей жизни, своего рода символом которого стала Индия, с покаянным молчанием Эроса — в минуты ее относительного

просветления Шварц понимал, что она не хуже него разбирается в психоанализе: и это было довольно страшным предзнаменованием того, что она вылечится и вернется к так называемой нормальной жизни (Господи, что *это* такое?). Парадокс заключался в том, что в периоды ухудшения она частенько демонстрировала куда лучшее понимание себя, чем в другое время. Индия, Индия, повторяла она — другого способа восстановить утерянную связь с возлюбленной Констанс она не знала.

— Индия очень изменилась? Все еще такая же голодная, опьяненная богом и усеянная засохшими экскрементами? Когда я была там, очень давно, задолго до вас, задолго до того, как полюбила вас, я чувствовала, как луна моего несуществования становится полной. Больше всего мне запомнился аромат магнолий. Глубокая печаль казалась очень полезной. Быть цельной личностью означало предавать природу. Теперь все иначе, потому что я предала брата, обратившись к вам, я вся с головы до ног во власти великолепной цельнотканой эйфории. В моих мыслях ваши поцелуи одевают меня звено за звеном в кольчугу. Он отослал вас, чтобы спасти меня, а на самом деле это грозило мне гибелью!

— Он умер!

— Он умер!

Получилось так, что эхом отозвавшаяся фраза сделала реальными смерть и разлуку. Неожиданно Констанс ощутила, что у нее подгибаются колени, она распадается, становится бесформенной, у нее хрустят суставы. Она упала на кровать и потом сколько-то времени пролежала в доверчивых объятиях Сильвии, испытывая нарастающее напряжение, от которого когда-то пыталась «убежать в Индию». Сильвия целовала ее со всей осторожностью страстного отчаяния, вот-вот перейдущего в восторг. А Констанс не могла не удивляться тому, как сильно ее тянет к Сильвии. Словно гравитационное поле окружило их, определяя неизбежность обремененных печалью ласк. Казалось, их слезы и вздохи исходят из некоего общего источника любви и грусти, и, лишь ощутив ладонь Сильвии сначала на своей груди, а потом в заповедном месте, Констанс очнулась, пришла в себя и оказалась перед демонами выбора. Может ли она пойти на это и утолить любовь прекрасной незнакомки? Уже задавая себе этот вопрос, она поняла, что готова на все и ее собственные поцелуи становятся горячее, покорные волшебным чарам Сильвии.

Хватит о Нарциссе! Она была в ужасе от сильного чувства, завладевшего ее сердцем, и даже сама не совсем понимала, что это всего лишь реакция на смерть Шварца. Это из-за нее Констанс потеряла самообладание, а вместе с ним и способность оценивать ситуацию. Она потерялась, утонула, если можно так сказать, поэтому теперь льнула душой и телом к Сильвии, словно та была спасательной шлюпкой, радуясь тому, что может владеть хрупким телом, изящными руками и тонкими выразительными пальцами. Да и быть любимой казалось ей сущим раем после всего пережитого.

Некоторое время две несчастные, измученные женщины соединялись в любви, чтобы обрести силы для жизни в бесчувственном мире. Наслаждаясь лихорадочными ласками, они стали глухи к доводам науки и разума. Вот уж Шварц заинтересовался бы подобным счастливым развитием событий, вызванным лишь потрясением из-за его смерти и ничем больше. Вновь любовь явила себя в одном из множества своих обличий.

— Ты опять уедешь, чтобы успокоиться? — спросила Сильвия. — Пожалуйста, возьми меня с собой! Я больше не вынесу разлуки! Констанс, возьми меня с собой!

Об отъезде, словно отзываясь эхом, заговорили

и друзья Констанс. В конце концов, Францию уже освободили, хотя до прежнего великолепия ей было еще далеко. Сатклифф повторил вопрос, потом Обри, в свою очередь, озвучил его. Ни дать ни взять снежный ком. Лорд Гален тоже внес свою лепту!

У Констанс накопилось отпусков на целое лето, а то и больше, да и Блэнфорд окреп достаточно, чтобы подумать об отдыхе на юге, Сатклифф ждал назначения на должность… Так и получилось, что они встретились возле экспресса-ветерана, отправлявшегося в Авиньон, — обслуживавшего всю восточную часть Средиземноморья. Потом заняли целый столик в удобном вагоне-ресторане.

— Можно рассчитывать на «Кентерберийские рассказы»? — спросил Обри Блэнфорд. — Пилигримы отправляются в путь!

Однако Сатклифф с иронией заметил, что это больше похоже на исход беженцев.

— Среди нас ни одной семейной пары, все одиноки, несчастны, все сами по себе. Интересно, это еще одно начало или конец? Итак, зерно покидает руку земледельца.

Острая боль пронзила сердце Блэнфорда, когда он заметил двух робких восторженных девушек, которые шли вместе, держась за руки, словно

подбадривая и утешая друг друга. Отвращение и зависть охватили его, потому что он не ожидал такого поворота событий. Маленького сына Аффада — это тоже удивило всех — бабушка молча передала с рук на руки Констанс, практически не произнесшей ни слова. Но на глазах у нее были слезы, когда она отрывала ребенка от себя. Мальчика же бросало то в жар, то в холод, он краснел и бледнел, крепко сжимая кулачки от волнения, так что белели костяшки пальцев. Еще никогда он не был так счастлив, тем более что обе молодые женщины заботились о нем, словно о собственном ребенке. Лорд Гален ехал в свой дом, намереваясь обдумать инвестиции в браки будущего. Кейд и Блэнфорд сидели рядышком, испытывая раздражение, которое успешно подавляли, не в силах расстаться. Почти каждый день слуга вспоминал какую-нибудь очередную подробность из жизни матери Блэнфорда — еще один фрагмент загадочного мозаичного портрета. Кейд делился подробностями, используя их как часть ласкового шантажа. Сатклифф и Тоби дополняли список действующих лиц, так говорил Тоби. Они тоже рассчитывали провести лето в Ту-Герц, или в Верфеле, или в Мерре — у них был выбор. Однако, подобно остальным, Сатклифф

тоже грустил.

— Я не могу не злиться, — сказал он Обри, — потому что мне не нравится мое положение. А что бы вы сказали, если бы у вас не было своей собственной личности, если бы вас заставили играть всего-навсего эфирного, невесомого и фантастичного двойника? А?

— Это лучше, чем быть созданием старого буяна *a la* Ibsen, — добродушно заметил Обри, которого бодрило предстоящее путешествие. — В конце концов, Сократ был всего лишь эфирным двойником Платона, он был не столько реальным, сколько *правдивым,* а потому невротичным — отсюда возбуждение, страхи и видения! Платон спас себя, передав все это Сократу. Он освободился от худшего, благодаря своему созданию. Надеюсь, вы тоже поможете мне.

— Синестезия![96]

— Да.

— Нас не поймут.

— Чепуха! Вы будете появляться, не имея четких очертаний, как статуя в Дон Жуане, препятствуя действию и постепенно обретая символический

---

[96] Примечания: 96

Явление восприятия, когда при раздражении органа чувств, наряду с естественными для этого органа ощущениями, появляются ощущения, естественные для другого органа чувств.

вес из-за отсутствия личности в человеческом смысле. У вас будет роль не человека, а оракула.

— Смысловое слово — базар?

— Не совсем так. Те же звуки, но смысл другой.

Больше ужимок, чем спермы, в речах?
Значит, у нас речь о профессорах?

— Точно. Первый приз будет ваш — ночной горшок на батарейках.

— Я буду канонизированным профессором.

— Веселее, Роб. С вами будет ваш роман!

— Аминь!

Они сидели рядом, но каждый думал о своем, словно слушал единственно для него звучащую музыку. Что же до Констанс, то теперь она как врач точно знала: с мужчинами всегда беда, и им не дано выразить словами немыслимую горечь смерти и разлуки. И любви, если хотите. Любви тоже.

Кейд сидел, словно был сам по себе, и, наклонив голову, тщательно обрезал и полировал большие выпуклые ногти. Время от времени он широко улыбался и оглядывал всех, словно призывая прочитать его мысли.

Сатклифф спросил:

— Кстати, Обри, вам виден конец нашего мучи-

тельного *tu quoque*[97] — или это навсегда?

— Считается, что Сократ провел свою последнюю ночь, мысленно произнося монолог, то есть наедине со своим голосом, если так можно выразиться.

— Внутренним или внешним голосом?

— Внутренний голос западный, а внешний — восточный. Ноумен[98] и феномен — реальность, вывернутая, как рукав, наизнанку. Это же ясно как день. Что вам не нравится?

Лорд Гален забавлял себя тем, что пересматривал книги для записи предложений, упакованные в пластиковые пачки. В них были советы и требования от швейцарских измученных очень доверчивых супружеских пар. Он размышлял о браке будущего — Адам с большим багровым членом и сумчатая Ева… Si vous visitez Lisbon envoyez nous un godmichet! По-английски звучит лучше. «Если будете в Лиссабоне, пришлите нам фаллос». Хорошо было Робину шутить («У швейцарского любовника астероиды в белье и

---

[97] Примечания: 97

Ты тоже *(лат.)* — часть выражения «И ты, Брут». Заглавие романа, который писали Блэнфорд и Сатклифф.

[98] Примечания: 98

Умопостигаемое, в противоположность феномену, постигаемому чувствами. Философский термин, впервые введенный Платоном.

злая прическа!»), но теперь, когда война закончилась, надо становиться практичным и строить новое будущее. Его пары будут помазаны компьютерами и освящены голосами. Он слышал, как кто-то непонятно сказал в борделе: «Elle a des sphincters d'un archimandrite Grec!»[99] — и подумал, не может ли это иметь отношение к новым приспособлениям, которыми он владел и распространением которых занимался в свободное время исполнительный Кейд. Будущий брак был захватывающей темой («сосиска в тесте» — непочтительный Тоби со своими шуточками действовал ему на нервы). Лорду Галену не терпелось послужить будущим влюбленным. Его задевало за живое, когда над этим иронизировали люди, которые могли бы вести себя и поумнее, например Сатклифф: *«Mou cher,* это станет делом — *reculer pour mieux enculer*.[100] Мы будем спать с НСЗ,[101] причем сестры будут специально натренированы северными рыбаками на мелкокалиберное спаривание — стук-постук,

---

[99] Примечания: 99
«У нее сфинктер, как у греческого архимандрита!» *(фр.).*

[100] Примечания: 100
Мой дорогой… отойти, чтобы получше вставить *(фр.).*

[101] Примечания: 101
Национальная служба здравоохранения.

и прелестный турникет срабатывает. Это будет называться соматотерапией».

Тебя учил: хватайся за Природу живо,
Потом иди к оргазму терпеливо.

— Люди ужасно циничны, — напомнил себе лорд Гален. — Отсутствие любви и доброты внушает печаль!

Блэнфорд в это время записывал военные стихи в блокнот:

Кровавою молитвой подведя итог,
Я фартук мясника забросил за порог,
Решив забыть про свой курок,
Ключ потерял, но запер на замок
Все страсти, коим я подвел итог,
Я слышал, как стучал в часах молоток,
И в дверь колотил немой кулачок:
Чок-чок-чок-чок-чок-чок

Он думал: если хотя бы одно-два лета провести в мире и покое, то можно приняться за следующий роман, за жертвенную радость, запуск ракеты в будущее, за индийский роман. «А почему бы и нет? — примирительно отозвался эфирный двойник. — Если урожай добрый, а девушки красивые, то почему бы и нет?»

— Вчера мы с Тоби целый вечер изучали всякие крики. Докричались до хрипоты, исполняя самые привередливые из своих жутких фантазий. Мы завывали и скрежетали, как собрание дервишей. Тоби изобразил первобытный крик всех народов, тогда как я продемонстрировал вой звериного царства, закончив схваткой собаки и кошки, отчего все наши швейцарские соседи на цыпочках вышли на балконы, не зная, вызывать «скорую помощь» или не вызывать. Но на этом мы не остановились и после прозы стали отыскивать звуки, которые могли бы дать представление об абстрактных сущностях, например о Магнитной Дыне; и от некоторых лопались швейцарские мозги. Когда я проснулся, у меня совсем не было голоса, пока я не выпил. А вечером они барабанили в нашу дверь и орали, угрожая вызвать полицию, если мы не угомонимся. Утром Тоби решил сменить фамилию, чтобы его называли мистер ОРЕПСОРП, но это всего лишь означает Просперо, только наоборот — правда, звучит как прозвище валлийца с аббревиатурной крайней плотью. Вот так мы попрощались с Женевой святочтимой памяти, с Женевой пустого фиглярства.

В Авиньоне *великаны* будут ждать нас на вок-

зале. Все будет как прежде, едва весна перейдет в лето. Мы уберем книжки и будем заново сращивать сломанные косточки. Как однажды заметил Данте:

> Смотри, как ярко звезды светят,
> Огнем как будто небо метят,
> О дерзости забыв, беззвучно
> Висят на небе неотлучно.

Считается, что некоторые из этих огней представляют собой сверкание великолепного французского вина, подаваемого в поезде. Пока они так шутили, две женщины, посадив между собой маленького мальчика, от восторга не могли произнести ни слова. Блэнфорд с горечью подумал: «L'Amour! Étrange Legume! Quel Concerto à quatre pattes! Viens cherie, on va éplucher le concombre ensemble!»[102]

Было чудовищной несправедливостью ощущать такую горечь, но он ничего не мог с собой поделать, потому и спрятался за французским языком. Ему пришлось до конца прочувствовать горький плод сексуальной ревности, потому что

---

[102] Примечания: 102

О Любовь! Странный овощ! Какой Концерт в четыре лапы! Поди сюда, милая, давай почистим огурец вместе!» *(фр.).*

он мечтал остаться наедине с Констанс. Женщины молчали, зато мальчик заговорил, едва показались деревенские пейзажи за окном. «Мой папа всегда будет смотреть на нас с неба. И он сможет приходить к нам в наших снах».

Сильвия поцеловала его в голову и обняла за маленькие плечи, чтобы поощрить его доверие, чтобы он вновь научился свободно говорить.

— Наверняка вам известно о принце, — сказал лорд Гален, обращаясь к Констанс. — Англичане арестовали всех членов секты по подозрению в подрывной деятельности, и принцу едва удалось ускользнуть в самолете Красного Креста. Он приедет ко мне и будет жить в моем доме, пока все не уляжется. Думаю, вы хотите повидаться с ним.

Перспектива была приятная.

— Если Прованс пришел в себя, значит испанцы сбегутся туда, чтобы помочь с уборкой винограда. Испанские девушки в виноградниках — с именами вроде Идея, Инкарнация, Повторение, Откровение.

— Можно еще Инфибуляция, Отвращение, Разглагольствование, Инфляция, Горение и…

Флогистон.[103]

— Как это «Флогистон»?

— Просто Флогистон!

— Не говоря уже о Затемнении, Мариновании, Отвратительной Секреции!

— С урожаем понятно. Я же буду думать о заглавии будущей автобиографии. Как насчет «Последней воли и завещания»? Или «Параллельный народ», или «Захват как Не-Захват», или «Первый бал», или «Опции, сверкания и другие случайные фырканья»?

Кейд налил всем вина. Поезд мчался вперед.

LAWRENCE DURRELL
THE AVIGNON QUINTET
SEBASTIAN OR RULING PASSIONS
1983

[103] Примечания: 103

«Начало горючести», гипотетическая составная часть вещества, которую оно якобы теряет при горении и обжиге. Эта гипотеза была опровергнута А. Лавуазье.